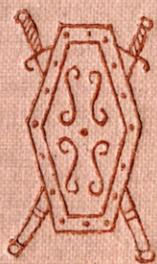


*В. Глинка*

ПУШКИН  
И  
ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ  
ЗИМНЕГО ДВОРЦА



1949



*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



*Пушкинский кабинет ИРЛИ*





*Пушкинский кабинет ИРЛИ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

*В. Гинка*

**ПУШКИН**  
И  
ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ  
ЗИМНЕГО ДВОРЦА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА  
Ленинград *Пушкинский кабинет ИРЛИ* 1949

Под общей редакцией  
академика И. А. Орбели



### ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА



Одним из самых замечательных художественных памятников русской боевой славы является Военная галерея Зимнего дворца. Ее стены украшают 332 портрета генералов, командовавших частями и соединениями русской армии во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813—1814 гг. Портреты написаны сравнительно скоро после этой, прославившей наш народ, войны приглашенным в Петербург на исключительно выгодных условиях английским портретистом Д. Доу и его помощниками, молодыми русскими живописцами А. В. Поляковым и В. А. Голике, которых талантливый, но алчный англичанин жестоко эксплуатировал и очень скупо оплачивал.

Под мастерскую Доу была отведена одна из зал Эрмитажа, в конце лоджий Рафаэля. Здесь в течение почти десяти лет, с 1819 года по 1828 год, проходили перед художником позировавшие ему генералы. Те, кто не могли приехать в Петербург, присылали свои портреты, служившие материалом для Доу и его помощников. Иногда это были художественные произведения очень высокого качества. Так, из Москвы был прислан ряд портретов,

написанных известным художником В. И. Тропининым. Их в мастерской Доу, разумеется, просто скопировали, подогнав под избранный для Галереи формат. Родственники и друзья убитых и умерших генералов доставляли в столицу сохранившиеся у них изображения, по которым в мастерской Доу создавался нужный образ. Лишь 13 рамок, затянутых зеленым шелком, хранят имена генералов, не доживших до создания Галереи, изображения которых не были разысканы.

В начале 1826 г. было приступлено, по проекту архитектора К. И. Росси, к сооружению Галереи, помещенной в самом сердце парадной части Зимнего дворца, между Георгиевским тронным и Гербовым залами, на месте шести ранее существовавших здесь небольших комнат. Все работы были закончены к концу года, и 25 декабря, в день ежегодного празднования победы над французами и изгнания их из России, состоялось торжественное открытие Военной галереи в присутствии генералов, офицеров и солдат — участников войны 1812 года и взятия Парижа.

Из трех больших конных портретов — Александра I и его союзников 1813—1814 гг., короля прусского и императора австрийского, — при открытии Галереи существовал только один — Александра, исполненный тем же Доу. Но портрет этот не удовлетворил Николая I, и в конце 30-х годов прусским придворным художником Ф. Крюгером были написаны те три конных портрета, которые мы сейчас видим.

В своем первоначальном виде Галерея просуществовала до 17—20 декабря 1837 г. В эти дни, во время большого пожара, уничтожившего всю старую отделку и деревянные перекрытия Зимнего дворца, погибло и убранство Галереи. Дошедший до нашего времени вид придал ей архитектор В. П. Стасов, отстраивавший дворец в 1838—1839 гг. Полное восстановление Галереи было возможно только потому, что все портреты были вынесены из



*Г. Г. Чернецов. Военная галерея Зимнего дворца до пожара*

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



горевшего здания самоотверженно спасавшими дворцовое имущество солдатами гвардейских полков.

Вид Галереи до пожара изображен на картине художника Г. Г. Чернецова, помещенной между колоннами, направо от входа из Гербового зала. При общем сходстве с современным видом, Галерея до пожара была несколько короче и отличалась рядом деталей в отделке и убранстве: отсутствовали существующие теперь хоры, нижние панели стен были расписаны ампирным орнаментом и ограждены металлическими прутьями; освещалась Галерея люстрами в виде огромных лавровых венков и торшерами, стоявшими между колонн.

Следует отметить, что еще в те годы, когда Доу и его скромные русские помощники работали над созданием портретов Военной галереи, среди петербургских знатоков искусства были люди, испытывавшие горькое чувство сожаления о том, что честь создания этого замечательного памятника Отечественной войны 1812 года связана с именем иностранца. Ведь в то время среди русских портретистов были такие выдающиеся мастера, как О. А. Кипренский, А. Г. Венецианов, В. И. Тropicин и А. Г. Варнек. Однако все знали, что выбор английского художника для выполнения этой почетной задачи обусловлен предпочтением, которое российский император постоянно оказывал всему иностранному.

О том, какое впечатление производила Галерея на современников, существует немало свидетельств в русской журнальной и мемуарной литературе 1820—1830-х годов. Но вступая в нее, каждый прежде всего вспоминает первые строфы прекрасного стихотворения Пушкина „Полководец“:

У русского царя в чертогах есть палата.  
Она не золотом, не бархатом богата,  
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом,  
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистию свободной и широкой  
Ее разрисовал художник быстрокий.  
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,  
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,  
Ни плясок, ни охот, а все плащи, да шпаги,  
Да лица, полные воинственной отваги.  
Толпою тесною художник поместил  
Сюда начальников народных наших сил,  
Покрытых славою чудесного похода  
И вечной памятью Двенадцатого года.  
Нередко медленно меж ними я брожу  
И на знакомые их образы гляжу,  
И, мнится, слышу их воинственные клики.  
Из них уж многих нет; другие, коих лики  
Еще так молоды на ярком полотне,  
Уже состарелись и никнут в тишине  
Главю лавровой...

Сила этих строк, помимо вдохновенного описания, еще в том, что они вводят в Галерею вместе с нами тень великого поэта.

Вполне естественно, что Военная галерея привлекала внимание Пушкина более других памятников Отечественной войны, воздвигавшихся в его время. Не памятник царю, как Александровская колонна, или благодарения богу за победу, как храм Христа Спасителя, проектировавшийся в Москве, — Военная галерея являлась широко задуманным и талантливо выполненным памятником русским военачальникам — от командира бригады до главнокомандующего, а в их лице — русскому военному искусству и всему воинству российскому, которое Пушкин высоко почитал, подвигами которого он гордился.

Объединенные в 1812—1814 гг. мощным патриотическим порывом, оригиналы портретов не были, однако, схожи по пройденному ими жизненному пути.

Здесь перед нами представители самых различных прослоек дворянства, от богатых и родовитых аристо-

кратов — Голицыных, Нарышкиных, Трубецких, Строгановых, с пеленок записанных офицерами в гвардию, до мелкопоместных и вовсе беспоместных, как Ешин, Ставраков или Шкапский, по десять лет тянувших солдатскую лямку, выслуживая чин армейского прапорщика. У большинства к 1812 году за плечами было четверть века боевой службы в Италии и Швейцарии, Молдавии и Пруссии, Богемии и Финляндии, с сотней сражений, штурмов, поисков и не раз пролитой кровью. У некоторых, наоборот, — гладкая дорожка адъютантской и штабной службы при влиятельных особах, часто награжденная щедрее боевой деятельности орденами и чинами. А у третьих, правда очень немногих, и вовсе почти без участия в войнах, быстро и с отличием пройденная карьера — все парады, смотры, караулы да разводы.

На портретах Военной галереи запечатлено огромное разнообразие лиц, носивших на себе отпечаток старческой мудрости, воинской гордости, беззаветной смелости, боевого азарта или сословного чванства, придворной интриги, изнеженного сибаритства, тупой фрунтотомании.

Здесь представлялось самое широкое поле для размышлений такому пытливому наблюдателю, каким был Пушкин. Его, тонкого физиономиста и психолога, должно было привлекать это огромное собрание остро схваченных и превосходно написанных художественных характеристик. Недаром поэт пишет: „Нередко медленно меж ними я брожу...“ А в одном из первоначальных вариантов этой строфы читаем: „И часто, в тишине, меж ними я брожу...“

Когда же, в какие именно годы, при каких обстоятельствах бывал здесь Пушкин? Этот вопрос, естественно, задают себе многие посетители, придя в Галерею и вспоминая стихи великого поэта.

Мы знаем, что Пушкин впервые посетил Галерею не

ранее июня—июля 1827 г., когда приехал в Петербург после восьмилетней ссылки на юг России и в Псковскую губернию. В это время Галерея являлась одной из новостей и достопримечательностей столицы, о ней много писали и говорили, осмотреть ее, этот памятник военной славы и портретного искусства, стремились приезжие.

Косвенное указание на то, что Пушкин в 1827—1828 гг. познакомился с портретами Военной галереи, мы находим в первой главе „Путешествия в Арзрум“, где, рассказывая о свидании с генералом Ермоловым в Орле, поэт говорит, что он „разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом“.

Не случайно, что вдохновенное описание Военной галереи в стихотворении „Полководец“ противопоставлено перечислению мадонн, фавнов, плясок, охот и других сюжетов, столь обычных для картин, украшавших другие залы дворца и, главным образом, галереи Эрмитажа. Мы знаем, что рядом с Зимним дворцом, в так называемом „Шепелевском доме“, <sup>1</sup> много лет жил В. А. Жуковский, у которого постоянно бывал Пушкин. Вместе с Жуковским поэт мог через Эрмитажные залы, выходящие на Неву, и так называемый Ламоттов павильон <sup>2</sup> внутренним переходом пройти в Зимний дворец и посетить Военную галерею. При этом Пушкин естественно ощущал контраст в убранстве только что пройденных зал с несколько суровым, воинским характером портретной Галереи деятелей 1812 года.

<sup>1</sup> „Шепелевский дом“, обращенный фасадом на Миллионную улицу (ныне — Халтурина) был построен в XVIII в., подарен Елизавете камергером Шепелевым и перестроен в 1840—1851 гг. при возведении нынешнего здания Эрмитажа, составив часть его. Квартира В. А. Жуковского находилась в 3-м этаже этого дома.

<sup>2</sup> Здание, в котором расположены теперь Павильонный зал и галерея Голландской и Нидерландской живописи.

Кроме того, Пушкин часто бывал и в самом Зимнем дворце, у своей близкой приятельницы, фрейлины А. О. Россет, позже по мужу Смирновой, „черноокой Россети“. До выхода замуж в 1832 г. она жила в фрейлинских комнатах 3-го этажа, выходивших на Дворцовую площадь.<sup>1</sup> Здесь, у А. О. Россет, часто собирался кружок близких Пушкину людей, главным образом литераторов, состоявший из В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Ф. Одоевского, М. Ю. Виельгорского и др. Пушкин мог и в обществе Россет посетить Военную галерею и другие залы дворца и Эрмитажа, что часто разрешалось в те периоды, когда Николай I с семьей жил в Аничковом дворце.

Несомненно, однако, что особенно часто поэту пришлось бывать в Зимнем дворце с начала 1834 г., с того времени, когда Николай I „пожаловал“ его камер-юнкером своего двора. Как ни тяготился Пушкин этим званием, как ни уклонялся от исполнения несносных ему обязанностей придворного, он не раз должен был появляться здесь облеченным в камер-юнкерский мундир, рядом со своей красавицей-женой, на различных церемониях: выходах, приемах, богослужениях,<sup>2</sup> балах. Один из близких друзей поэта, А. И. Тургенев, так описывает в письме от 7 декабря 1836 г. свое посещение Зимнего дворца в день именин Николая I: „Я был во дворце с 10 часов до 3<sup>1/2</sup>, и был поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских, нашел много апартаментов новых и в прекрасном вкусе отделанных. Пение в церкви восхитительное. Я не знал слушать или смотреть на Пушкину и ей подобных. Но много-ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала других“. Можно сказать с уверенностью, что и Пушкин был в этот день во дворце. По условиям тогдашнего этикета жена

<sup>1</sup> Где теперь расположена выставка французского искусства XIX в.

<sup>2</sup> В соборе, где расположена выставка европейского фарфора XVIII в.

наверяд-ли могла без него появляться в дворцовой церкви. И так, конечно, бывало не один раз.

Во внешне блестящей и корректной, но внутренне чуждой и враждебной ему придворной среде, Пушкин чувствовал себя тяжело и одиноко. Это ощущение личного одиночества и чуждости окружающему художественно преломилось в написанном в 1835 году стихотворении „Полководец“, посвященном портрету Барклая-де-Толли, одному из лучших в Галерее.

Мы можем представить себе, как во время торжественного богослужения в дворцовом соборе Пушкин, оставя жену тщеславно красоваться своим туалетом на фоне придворных мундиров и затейливых завитков церковной позолоты, один проходит в близлежащую Военную галерею. Он медленно идет вдоль линии портретов, скупо освещенных из верхних окон серым отблеском зимнего петербургского дня. Доносятся приглушенные звуки песнопений из собора. Неподвижно застыли у дверей Георгиевского тронного зала часовые гренандеры. Одинокая фигура величайшего русского поэта движется по Галерее, он всматривается в „лица, полные воинственной отваги“. Взгляд его сосредоточен, он творит. Складываются строки о тяжком одиночестве в чуждой толпе:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!  
Жрецы минутного, поклонники успеха!  
Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век...

Именно здесь, более чем где бы то ни было, в Зимнем дворце, живет до сих пор образ Пушкина. Здесь он сопровождает каждого посетителя, который, войдя сюда, вспоминает:

Нередко медленно меж ними я брожу  
И на знакомые их образы гляжу,  
И, мнится, слышу их воинственные клики...

## ПУШКИН И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

Пушкину было уже 13 лет, он кончал свой первый учебный год в Царскосельском лицее, когда над Россией грозовой тучей нависло нашествие полчищ Наполеона. Пытливый подросток внимательно вглядывался в происходящее. Вот как описывает это время лицейский товарищ Пушкина, близкий друг его, будущий декабрист, И. И. Пущин: „Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Это событие сильно отозвалось на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита... Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский<sup>1</sup> читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовали у нас, опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научили нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам непонятное“.

Так было в дни войны, в отрочестве Пушкина. Но и дальше, в молодости и зрелости, поэт постоянно интересовался 1812 годом, думал и писал о нем. Как лишь немногие, наиболее зрелые современники, понимал он всемирное значение героической борьбы русского народа с захватчиками-французами, — борьбы, ценою крови на-

<sup>1</sup> Кошанский — профессор русской и латинской словесности в Лицее.

ших воинов не только избавившей Россию от угрозы чужеземного владычества, но вслед затем оказавшей огромную помощь делу освобождения народов Европы от ига Наполеона.

Пушкин ясно понимал и тесную связь этой великой эпопеи со всем последующим периодом политической истории России. Недаром передовые современники поэта делили свою жизнь на две резко различные части, — до 1812 года, и после него. Победы над не знавшим до того поражений врагом обусловили огромный подъем русского национального самосознания. Народ-победитель понял, какие великие дела он может совершать, и вслед затем с особой остротой почувствовал несправедливость и отсталость политического строя крепостнической России. Мы знаем, что декабристы, к мировоззрению которых так близок был Пушкин, называли себя „детьми 1812 года“.

Несомненно, что духовное развитие нашего великого поэта было в большой мере обусловлено пережитым его родиной в 1812 году. Гордое сознание могучей духовной силы своего народа, свойственное Пушкину, не могло быть столь полным без великих испытаний и побед Отечественной войны.

При этом интерес Пушкина к 1812 году непрерывно поддерживался тем, что он видел и слышал. Наша родина в 20-х и 30-х годах XIX в. изобиловала вещественными воспоминаниями о великих событиях, начиная с постепенно отстраивавшейся Москвы, принесенной в 1812 году русским народом в жертву любви к родине.

Многочисленны были также непосредственные участники Отечественной войны, с которыми общался Пушкин. Вспомним, что среди его друзей и хороших знакомых были служившие офицерами в 1812—1814-х годах Каверин, Чаадаев, Батюшков, братья Раевские и Давыдовы, Катенин, Ф. Глинка, Ф. Толстой, Кривцов, М. Орлов,

Грибоедов, Перовский, что такие близкие поэту люди, как Жуковский и Вяземский, состояли в народном ополчении и участвовали в Бородинском бою.

Но, и помимо этих постоянных собеседников Пушкина, из уст которых он, несомненно, слышал рассказы о различных событиях „вечной памяти Двенадцатого года“, куда бы ни забросила его судьба, поэт всегда встречал десятки участников недавних боевых дел. В Царском Селе и на Кавказских водах, в Кишиневе и в Одессе, в помещичьих усадьбах псковского захолустья, в Москве и в Петербурге, в лагере под Арзрумом, в Тифлисе и в Оренбурге, — в любом обществе, — в светской гостиной, в зале ресторации, за карточным столом и на почтовой станции, — везде встречал Пушкин людей, служивших под начальством Кутузова или Барклая, Кульнева или Раевского, Ермолова или Неверовского и готовых вспомнить о недавно прошедших годах, полных опасностей и славы.

А любимым, самым частым украшением тех мест, где проходили эти встречи, в столицах и в отдаленнейших провинциях России, были всевозможные, разнообразные по художественному достоинству, но важные по патриотическим воспоминаниям, изображения побед 1812 года и, еще чаще, портреты военачальников, в значительной части представлявшие собой живописные копии, гравюры и литографии со знакомых нам портретов „художника быстрогого“, Д. Доу.

Надо помнить еще, что Пушкин особенно высоко ценил в человеке храбрость и всегда живо интересовался конкретными обстоятельствами совершенного подвига, всевозможными проявлениями самоотвержения и отваги. Один из современников, боевой офицер, пишет, что „Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту; он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо

его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самопожертвования; глаза его блистали и вдруг часто он задумывался“. Естественно, что войны 1812—1814 гг., столь богатые примерами доблести русских генералов, офицеров, солдат, и с этой стороны неизменно занимали поэта.

Существует немало прямых указаний на то, с каким интересом Пушкин относился к воспоминаниям участников Отечественной войны. Юношей, в Царском Селе, он слушает рассказы лейб-гусарских офицеров и сам мечтает о бранной славе; в 1820—1821 гг. в Кишиневе расспрашивает о Бородине и взятии Парижа местного почтмейстера, отставного полковника Алексеева; в январе 1834 г. мы застаем его в номере петербургской гостиницы Демута, с увлечением беседующего с Раевским и Граббе на те же темы, а летом 1836 г. — последнего года жизни поэта — в той же гостинице — толкующим с участницей войны с французами „кавалеристом-девицей“ Дуровой об издании ее записок. Таких свидетельств постоянного интереса Пушкина к событиям Отечественной войны можно привести немало. Среди них будет, между прочим, и то, что один из номеров издававшегося им журнала „Современник“ поэт целиком занял материалом о борьбе России с Наполеоном.

Вспомним, сколько раз вставала в различные годы тема Отечественной войны в творчестве Пушкина. Не давая исчерпывающего перечня, назовем: „К Александру“, „Наполеон“, „Воспоминания в Царском Селе“, 1814 г., VII и X главы „Евгения Онегина“, „Клеветникам России“, „Бородинская годовщина“, „Метель“, „Рославлев“, „Записка о народном образовании“, „19 октября“, 1836 г. И каждый раз та или иная сторона великих событий недавнего прошлого освещалась со свойственными Пушкину, — не участнику, но свидетелю и историку, — остротой, лаконизмом и мастерством.

Именно так в неоконченной повести „Рославлев“ описана картина настроений московского дворянского общества накануне войны с Наполеоном. Многочисленные модники, эгоисты и трусы резко меняют привычное восхваление всего французского на поверхностное и фальшивое восхищение всем русским и с громкой „патриотической“ болтовней бегут в тыл. Ярко показал Пушкин подлинную любовь к России простого народа и передового дворянства, идущих защищать родину. В центре повествования стоит образ героической русской девушки, с волнением следящей за военными событиями и готовой пробраться во вражеский стан и убить Наполеона, чтобы спасти свое отечество.

Пушкин справедливо считал, что сожжение Москвы ее жителями было одним из важных обстоятельств в кампании 1812 года. И этот великий подвиг народа волновал и трогал поэта. К нему он не раз возвращался в стихотворениях „Наполеон“, „Клеветникам России“ и в главе VII „Евгения Онегина“, где, как бы вскользь упомянув подмосковный Петровский дворец, в котором, бежав из Кремля, Наполеон спасался от пожара, он дал полную национальной гордости картину несбывшихся надежд завоевателя:

Вот, окружен свесей дубравой,  
Петровский замок. Мрачно он  
Недавнею гордится славой.  
Напрасно ждал Наполеон,  
Последним счастьем упоенный,  
Москвы коленапреклоненной  
С ключами старого Кремля.  
Нет, не пошла Москва моя  
К нему с повинной головою.  
Не праздник, не приемный дар,  
Она готовила пожар  
Нетерпеливому герою.  
Отселе в думу погружен,  
Глядел на грозный пламень он.

А вот картина виденного в юности самим Пушкиным победоносного возвращения русских войск из похода, данная в повести „Метель“:

„Война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: «Vive Henri quatre», тирольские вальсы и арии из Жоконды. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав в бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабываемое! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слезы свиданья! С каким единомыслием мы соединяли чувства народной гордости и любви“.

Наконец, двум ведущим полководцам Отечественной войны, фельдмаршалам М. И. Кутузову и М. Б. Барклауде-Толли, Пушкин посвятил стихотворения „Перед гробницею святой“ и „Полководец“.

Первое из них особенно интересно как свидетельство почти благоговейного отношения великого поэта к памяти Михаила Илларионовича Кутузова и высокой оценки его полководческого таланта.

Обстоятельства, при которых писалось это стихотворение, таковы. Политическая обстановка весны и лета 1831 г. была столь напряженна, что казалось в любую минуту возможным выступление Франции, почти открыто грозившей России войной. Имелись недружелюбные демонстрации и со стороны Англии. Положение особенно обострилось после ряда неудач русских войск, обусловленных бездарностью главнокомандующего Дибича и его помощников Толя и Нейгардта, что толковалось европейскими врагами как симптомы бессилия русской армии, с которой им казалось, легко было бы справиться.



М. И. Кутузов (1745—1813)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



Пушкин с тревогой следил за усложнявшейся политической обстановкой. Ее разбору он уделял много места в письмах к друзьям, и в одном из них, от 1-го июня, читаем: „Того и гляди навяжется на нас Европа“. Именно к этому времени относится рассказ одного из знакомых поэта о том, как, встретив Пушкина на прогулке, мрачного и встревоженного, он спросил: „Отчего невеселы, Александр Сергеевич?“ — И услышал в ответ: — „Да все газеты читаю“. — „Что ж такое?“ — „Да разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году“.

Невольно рождался вопрос, кто мог бы встать во главе русской армии в случае нападения Франции и достойно отразить его. Таких полководцев в рядах армии Николая I не было, — Пушкин с горечью понимал это. Царского любимца Паскевича поэт знал слишком хорошо и трезво оценивал его ограниченные возможности. Многочисленные немцы были еще бездарнее и не пользовались доверием в стране и в армии.

В своих размышлениях Пушкин обращался к недавнему прошлому, схожему по политической обстановке и богатому столькими славными именами. При этом, естественно, прежде всех других, вставал перед ним величавый образ М. И. Кутузова, искусного военачальника и крупного государственного деятеля.

В конце мая поэт посетил известную каждому ленинградцу гробницу великого полководца в Казанском соборе, и вскоре после этого создались строфы проникновенного стихотворения:

Перед гробницею святой,  
Стою с поникшей головой...  
Все спит кругом; одни лампы  
Во мраке храма золотят  
Столпов гранитные громады  
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,  
Сей идол северных дружин,  
Маститый страж страны державной,  
Смиритель всех ее врагов,  
Сей остальной из стаи славной  
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет!  
Он русский глас нам издает;  
Он нам твердит о той године,  
Когда народной веры глас  
Воззвал к святой твоей седине:  
„Иди, спасай!“ Ты встал и спас.

Внемли ж и днесь наш верный глас:  
Встань и спасай царя и нас,  
О старец грозный, на мгновение  
Явись у двери гробовой,  
Явись: вдохни восторг и рвенье  
Полкам, оставленным тобой.

Явись и дланию своей  
Нам укажи в толпе вождей,  
Кто твой наследник, твой избранный...  
Но храм в молчанье погружен,  
И тих твоей могилы бранной  
Невозмутимый, вечный сон.

Следует отметить, что две последние строфы, говорящие о тревожных настроениях Пушкина в 1831 г., о его недоверии к военным сподвижникам Николая I, при жизни поэта не печатались. А предшествующие строфы стали известны широкой публике только в 1836 г., когда в связи с опубликованием стихотворения „Полководец“ на Пушкина посыпались упреки в недооценке роли Кутузова в Отечественной войне. Тогда в 4-м томе издававшегося им журнала „Современник“ поэт поместил „Объяснение“, в котором раскрыл свое отношение к действиям покойного фельдмаршала и привел первые три строфы стихотворения „Перед гробницею святой“. В этом „Объяснении“ читаем: „Слава Кутузова неразрывно соединена со славой



М. И. Кутузов (деталь портрета)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: Спаситель России; его памятник: скала св. Елены! Имя его не только священо для нас, но не должны-ли мы еще радоваться, мы — русские, что оно звучит русским звуком.

„И мог-ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог-ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог-ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (не говоря уже о превосходстве военного гения). Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!... Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было; а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унижить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту ступень, на которой она явилась в 1813 году“.

Мы видим, что в своем „Объяснении“ Пушкин едва ли не первый в нашей литературе, задолго до Л. Н. Толстого, отметил „народную доверенность“, которой пользовался в 1812 году Кутузов, подчеркнул, что он был подлинно народным военачальником, смело обрисовал его как гениального полководца.

Полководческий гений Кутузова проявился, разумеется, ярче всего в руководстве борьбой русского народа с полчищами французских захватчиков во время Отечественной войны. Но Пушкин, как и все современники, знал также и другие, более ранние, замечательные боевые дела Кутузова, подготовившие его к сложной и ответственной роли главнокомандующего всеми вооружен-

ными силами России в 1812 году. И, бывая в Военной галерее, смотря на портрет Кутузова, занимавший в ней, как и сейчас, одно из центральных мест, поэт, по всей вероятности, вспоминал наиболее прославившие седого полководца кампании 1805 года и 1811 года, когда в обоих случаях Кутузов был поставлен в чрезвычайно трудные условия и оба раза разрешил задачу с удивительным искусством.

Так как эти кампании гораздо менее известны, чем деятельность Кутузова в Отечественную войну, мы решаемся вкратце напомнить их читателю.

Осенью 1805 г. на Кутузова было возложено командование армией, двигавшейся из России на помощь союзникам-австрийцам. После двухмесячного форсированного марша, будучи уже в Баварии, Кутузов узнал, что группа австрийских войск, на соединение с которой он так спешил, без боя сдалась Наполеону. С 40 тысячами бойцов, составлявшими первый эшелон его армии, Кутузов оказался почти лицом к лицу со 160 тысячами солдат Наполеона. Французский полководец стремился как можно скорее раздавить изнуренные маршем, отягченные обозами и артиллерией русские войска, а задача Кутузова заключалась в соединении со своим вторым эшелоном и австрийцами, бывшими также в тылу, для чего он начал отступательный марш-маневр вдоль Дуная.

Французы шли по пятам, перебросив на другой берег реки корпус Мортье, которому поручалось препятствовать Кутузову перейти на ту сторону у городка Кремс. Блестящий арьергардный бой Багратиона у Амштеттена, расстроивший и остановивший передовые части французских войск, дал возможность Кутузову опередить врага на целый переход, оторвавшись от него, перейти Дунай у Кремса, уничтожить мост и обрушиться на подошедшего Мортье буквально на глазах взбешенного, но бесильного помочь своему маршалу Наполеона.

Казалось, теперь можно было спокойно двигаться к цели, — следующий мост через Дунай находился в 100 км впереди, у Вены, он охранялся отборными австрийскими частями и был минирован. Но французы овладели им хитростью, без боя, и Мюрат с 30-тысячным авангардом устремился наперерез продолжавшим свое движение русским.

У деревни Шенграбен Кутузов выставил 5-тысячный отряд генерала Багратиона с заданием задержать врага. Мюрат, не зная, какие силы стоят перед ним, завязал переговоры о перемирии, искусно затянутые Кутузовым, уходившим все дальше. Приблизившийся с главными силами Наполеон понял, что Мюрата перехитрили, и бросил его на русский заслон. В течение целого дня Багратион героически бился с шестеро превосходившим его врагом, вырвался из окружения и с трофеями в виде отбитого неприятельского знамени и 400 пленных через два дня присоединился к Кутузову, подходившему уже к Ольмюцу — месту сосредоточения русских и австрийских войск.

Блестящий марш-маневр был закончен. Кутузов прошел 425 километров, сохранив не только боеспособность армии, всю артиллерию и обозы, но еще нанеся врагу ряд тяжелых ударов. Действия Кутузова вызвали восхищение и удивление современников, французский маршал Мармон назвал движение от Браунау к Ольмюцу „классически-геройским“.

В 1811 г. перед Кутузовым была поставлена еще более сложная и ответственная задача. С 1806 г. Россия вела войну с Турцией. Главкомандующими на Дунае были последовательно генералы Михельсон, Каменский, Прозоровский и Багратион, не достигшие, однако, решительного успеха.

В мае месяце 1811 года главкомандующим был назначен Кутузов. В его распоряжении находилось всего 45 тысяч бойцов, разбросанных на тысячекилометровой линии

Дуная, против 100 тысяч турок. Между тем обстоятельства требовали быстрого и полного разгрома неприятельской армии: явно назревало новое столкновение с Наполеоном, и сражавшиеся на Дунае дивизии были нужны на западной границе России. Прочным миром с Турцией следовало обеспечить тыл на время борьбы с французами.

Быстро выработав оригинальный и смелый план действий, Кутузов начал сосредоточивать свои войска в районе крепости Рущук, уничтожив ряд других укреплений, распылявших его незначительные силы. Искусными маневрами, соединенными с распространением ложных сведений о своей слабости, русский главнокомандующий выманил турок из крепостей в поле, привлек их главные силы к Рущуку и здесь 5 июля нанес им жестокое поражение, хотя располагал всего 15 тысячами бойцов против 60 тысяч врага. Ведение этого боя является образцом полководческого искусства, достойным специального изучения.

Однако, после победы, вместо ожидаемого обращенными в бегство турками преследования, Кутузов простоял у Рущука три дня, взорвал его укрепления и переправился со своей армией на северный берег Дуная. Ободренные турки, решив что силы русских истощены в сражении, усилили свою армию до 70 тысяч и вновь устремились к Рущуку. Здесь они перешли реку вслед за Кутузовым, в количестве 50 тысяч, оставив остальные силы на южном берегу охранять продовольственную и военную базу. Этого и добивался русский полководец. Теперь он вновь перешел в наступление. Перевосив на турецкий берег корпус Маркова, он стремительной атакой завладел турецким лагерем-базой и взял под обстрел турецких же пушек тыл армии великого визиря на северном берегу Дуная, сам тесня ее с фронта и прижимая к реке. Отрезанные от своих ком-

муникаций, лишённые продовольствия и боеприпасов, турки вскоре стали терпеть голод и лишения. Через два месяца блокады войсками Кутузова, они капитулировали 7 декабря 1811 г.

В мае 1812 г. в Бухаресте, при активном участии русского полководца, был заключен мир, по которому Бессарабия освобождалась от турецкого ига и присоединялась к России. Уничтожение турецкой армии вырвало из рук Наполеона одну из козырных карт его игры. Он рассчитывал на союз с султаном при вторжении в Россию и пришел в бешенство, узнав о военном и дипломатическом успехе Кутузова.

Повторяем, нам кажется несомненным, что обе эти прославленные кампании были хорошо известны Пушкину от многочисленных приятелей и знакомых, участвовавших в них. Вспомним хотя бы генерала И. Н. Инзова, столь частого собеседника поэта в 1820—1823 годах, одного из близких сподвижников Кутузова и в 1805, и 1811 году. Вспомним, что в Кишиневе, столице Бессарабии, в годы жизни там Пушкина, у всех на устах было имя Кутузова, которому эта область была обязана своим присоединением к России. И естественно думать, что не только 1812 год имел в виду великий поэт, когда говорил о „превосходстве военного гения“ Кутузова над Барклаем.

На портрете в Военной галерее Кутузов изображен в классической позе полководца, повелительным жестом направляющего русские войска преследовать по снежной равнине отступающие полчища Наполеона. В гегеральском мундире и накинутой на одно плечо подбитой мехом шинели, Кутузов стоит под оснеженной сосной — символом русской зимы. Седая голова не покрыта, рядом на барабане лежит мягкая фуражка-бескозырка. Старый фельдмаршал, трижды раненный в голову, избегал носить более тяжелые головные уборы.

Образ Кутузова, данный Доу, несколько подмоложен, приглажен и упрощен. Нет характерной для 67-летнего военачальника не раз описанной и зарисованной в последние годы его жизни болезненной тучности немогущего тела, в котором жил столь мужественный и деятельный дух. Нет и свойственной Кутузову спокойной проникновенной мудрости в выражении морщинистого лица, за которую солдаты в 1812 году звали дорогого и близкого им полководца „дедушкой“.

Отметим, что в числе друзей великого поэта более 10 лет была любимая дочь М. И. Кутузова, вдова генерала и дипломата, Елизавета Михайловна Хитрово. В семье Хитрово хранились многочисленные реликвии, связанные с памятью великого полководца, которые, несомненно, видел часто посещавший ее Пушкин. Среди этих предметов были, например, карманные часы фельдмаршала, которыми он пользовался в день Бородинской битвы. Вероятно, из уст своей приятельницы Пушкин слышал немало семейных преданий и рассказов о ее покойном отце.

Характеризуя отношения Е. М. Хитрово к ее друзьям, в числе которых, кроме Пушкина, были Жуковский, Гоголь и другие, П. А. Вяземский писал: „В числе сердечных качеств, отличавших Е. М. Хитрово, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий...“

После смерти Пушкина Е. М. Хитрово решительно стала в первые ряды защитников памяти поэта от великосветских нареканий, пересудов и поношений. Она горько оплакала своего знаменитого друга, в котором лишь очень немногие женщины ее общества видели славу и гордость России.



М. Б. Барклай-де-Толли (1761—1818)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



Перейдем теперь к стихотворению „Полководец“, посвященному памяти Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Оно написано весной 1835 г. под впечатлением портрета, находящегося в Военной галерее. Опуская уже приведенную нами в начале книги часть, содержащую описание Галереи, обратимся к строкам, относящимся непосредственно к Барклаю:

. . . . . Но в сей толпе суровой  
Один меня влечет всех больше. С думой новой  
Всегда останавлиюсь пред ним, и не свожу  
С него моих очей. Чем долее гляжу,  
Тем более томим я грустию тяжелой.  
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,  
Высоко лоснится, и, мнится, залегла  
Там грусть великая. Кругом густая мгла;  
За ним военный стан. Спокойный и угрюмый,  
Он, кажется, глядит с презрительною думой.  
Свою ли точно мысль художник обнажил,  
Когда он таковым его изобразил,  
Или невольное то было вдохновенье, —  
Но Доу дал ему такое выраженье.  
О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:  
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.  
Непроницаемый для взгляда черни дикой,  
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,  
И в имени твоём звук чуждый не взлюбя,  
Своими криками преследуя тебя,  
Народ, таинственно спасаемый тобою,  
Ругался над твоей священной сединою.  
И тот, чей острый ум тебя и постигал,  
В угоду им тебя лукаво порицал...  
И долго, укреплен могучим убежденьем,  
Ты был непоколебим пред общим заблужденьем,  
И на полупути был должен, наконец,  
Безмолвно уступить и лавровый венец,  
И власть, и замысел, обдуманый глубоко, —  
И в полковых рядах сокрыться одиноко.  
Там, устарелый вождь, как ратник молодой,  
Сви́нца веселый свист слышавший впервой,  
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —  
Вотще!...

Поясняя свою точку зрения на положение Барклая-де-Толли в 1812 году и парируя упреки в снижении роли Кутузова, изложенные автором полемизировавшей с ним брошюры, Пушкин писал в уже упомянутом „Объяснении“:

„Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели после двадцатипятилетнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?... Конечно, не народом и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушавший доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высокопоэтическим лицом“.

Мы видим, что, создавая „Полководца“, поэт преследовал благородную цель реабилитации памяти давно умершего Барклая, о роли которого в 1812 году современная Пушкину печать начисто умалчивала. Единственная статья в „Московском телеграфе“ 1833 г., выражавшая сходный с поэтом взгляд на деятельность незаслуженно забытого военачальника, навлекла на журнал неприятности с цензурой и даже угрозу закрытия, о чем Пушкин, конечно, знал. Нужно было немало свойственной поэту



М. Б. Барклай-де-Толли *(деталь портрета)*

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



самостоятельности во взгляде на историческую личность и смелости, чтобы выступить с этим стихотворением.

Но при этом, читая замечательное по мысли и форме стихотворение, мы ни на мгновение не должны забывать, что тема его — тяжкое одиночество в чуждой и враждебной толпе — отражала, как уже отмечалось выше, собственные мучительные ощущения великого поэта, как раз в эти годы тщетно стремившегося вырваться из петербургского „светского“ окружения. В 1835—1836 гг. одинокая фигура Барклая была особенно близка Пушкину. „Полководец“ — одно из произведений великого поэта, в котором отчетливо звучат трагические ноты приближающейся катастрофы — неравного поединка Пушкина с враждебным ему миром, возглавляемым царем и шефом жандармов Бенкендорфом.

И можно ли, сохраняя объективность, сказать, что Россия была для Барклая „землей чужой“? Нам кажется — нет. Происходя из Лифляндии, будучи сыном боевого офицера русской службы, честный Барклай никогда не отделял себя от России, в его сознании даже в самые горькие минуты Россия не была „чужой“ землей. Ей он служил, отдавая все свои способности, за нее сражался и проливал кровь, но и Россия вознаграждала его, отличала как немногих, кроме короткого периода лета и осени 1812 года, на что имелись особые, единственные в своем роде основания.

Служебный путь Барклая-де-Толли не совсем обычен. До полковничьего чина он шел более 20 лет, хотя, участвуя во многих делах против турок, поляков, шведов, всегда отличался храбростью и распорядительностью. Зато дальше двинулся много быстрее. В 1806—1807 гг. Барклай выделился как стойкий авангардный и аррьергардный начальник, умевший с малыми силами выдерживать натиск французов или сам теснить их. В 1808—1809 гг. с отличием участвовал в русско-шведской войне

и совершил с корпусом труднейший переход по льду через Ботнический залив в Швецию, за что был произведен в чин генерала-от-инфантерии (пехоты) 48 лет от роду. В 1810 г. назначен военным министром. Занимая эту должность, Барклай развил энергичную и плодотворную деятельность по реорганизации и численному увеличению армии, подготавливая ее к решительному столкновению с французами. С 1806 г., по собственной инициативе, занимался разработкой операционного плана будущей войны с Наполеоном, основанного на систематическом уклонении от решительного боя, отступлении в глубь страны, постепенном истощении и расстройстве войск неприятеля и нанесении ему смертельного удара только тогда, когда соотношение сил изменится в пользу России.

Нужно ли пояснять, однако, что в 1812 году, в период небывалого патриотического подъема, Барклай совершенно закономерно не мог оказаться тем человеком, которого народ и армия сочли бы своим вождем. Барклай не знали, как Кутузова или Багратиона: быстро выдвинувшись, он не был главнокомандующим ни в одну из предшествовавших кампаний. Против него говорила и эта малая известность войскам, и иностранное имя, и неумение говорить с солдатами и, наконец, совершенно необходимая, но столь не удовлетворявшая чувство патриотизма тактика отступления, казавшаяся святотатством именно потому, что исходила от Барклая.

Барклай тяжело пережил недоверие к нему армии и назначение Кутузова. В Бородинском бою он явно искал гибели. Одетый в шитый золотом мундир, во всех орденах и лентах, с огромным плюмажем на шляпе (именно так он изображен Доу), представляя заметную для врага мишень, Барклай непрерывно был на виду у неприятеля и не раз лично водил полки в атаку. „Бросался ты в огонь, ища желанной смерти“, — именно об этом дне пишет Пушкин.

Исключительная храбрость, распорядительность и кладнокровие, выказанные при Бородине, разом восстановили доброе имя Барклая в армии и примирили с ним многих недавних ненавистников. Вскоре острая форма лихорадки вывела генерала из строя более чем на полгода. В 1813 г. он, командуя одной из армий, осадил и взял крепость Торн. Затем, во главе русских и союзных войск участвовал в ряде сражений, особенно отличившись при Кенигсварте, Лейпциге и Париже. Был награжден деньгами, поместьями, всеми высшими орденами, титулами графа и затем князя.

Портрет Барклая не случайно привлек особое внимание великого поэта, — это одна из лучших работ Доу. Одинокую фигуру генерала со спокойным, задумчивым лицом посетитель запоминает надолго. Фоном ему служит не просто „военный стан“, как писал Пушкин, а лагерь русских войск под Парижем и панорама самого города, окруженного высотами, взятыми с боя русской армией 18 марта 1814 г. Выбор такого фона не случаен, — за руководство штурмом Парижа Барклай-де-Толли был произведен в генерал-фельдмаршалы.

Напомним еще читателю, что статуи Кутузова и Барклая, поставленные в 1837 г. у Казанского собора, были известны Пушкину. Посетив мастерскую скульптора Орловского в марте 1836 г., поэт видел изваяния обоих полководцев и еще раз отметил свой взгляд на их роль в Отечественной войне одной выразительной строкой стихотворения „Художнику“:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...

Мы видим, как хорошо знал Пушкин события 1812—1814 гг. Можно с уверенностью сказать, что он помнил имена, лица и роли многих виднейших деятелей войны — русских полководцев. И проходя по Военной галерее Зимнего дворца, поэт, несомненно, вспоминал так инте-

ресовавшие его всю жизнь великие события борьбы России с завоевателем Наполеоном. Недаром в „Полководце“ он нашел для этих генералов поэтическое и гордое именование: „начальников народных наших сил“.

Но, помимо всего этого, особенно в те последние годы жизни, когда Пушкин чаще бывал в Галерее, при взгляде на некоторые портреты, перед ним должны были встать и другие, личные, воспоминания.

Ведь из десятков рам, с выразительных, чрезвычайно схожих портретов на Пушкина смотрели не только в историческом плане „знакомые образы“, а лично хорошо ему знакомые черты. С этими людьми были связаны дни его юности, долголетней ссылки, петербургской и московской жизни, различные эпизоды сложных, и, как правило, неприязненных взаимоотношений с правительством, светских и деловых общений. Среди них Пушкин видел дорогие лица нескольких друзей и более многочисленные облики идейных и личных врагов. Словом, здесь, в Галерее, наряду с воспоминаниями о 1812 годе, перед поэтом, естественно, вставали также разнообразные картины его жизненного пути, полного напряженной борьбы и творческой деятельности. В этих случаях, нам кажется, подобные воспоминания могли занять порой и первенствующее место, но необходимым дополнением к ним почти всегда бывала та роль, которую играл в Отечественной войне знакомый поэту человек.

Цель следующих глав этой книги дать такой путеводитель по Военной галерее, который помог бы посетителю Эрмитажа познакомиться с тем, какие именно личные воспоминания могли встать здесь перед нашим великим поэтом при взгляде на тот или иной портрет, какие чувства волновали его, когда, проходя по Галерее, он видел эти в тесном смысле „знакомые образы“.

Мы располагаем наш рассказ в порядке появления этих людей в жизни Пушкина, хотя часто отношения

с ними будут уводить нас в целый ряд последующих лет, порой до самого рокового 1837 года, после чего вновь придется возвращаться к более ранним периодам.

#### Д. В. ДАВЫДОВ

Возможно, что еще в Москве до поступления в Лицей, маленький Пушкин слышал имя поэта-офицера Дениса Васильевича Давыдова.<sup>1</sup>

В доме Пушкиных часто бывали писатели, здесь толковали о новостях литературы, и, вероятно, обсуждали перевод гвардейского поручика Давыдова в захолустный армейский полк за „возмутительные“ стихи. Это были басни „Голова и Ноги“, „Река и Зеркало“ и др., широко распространявшиеся в списках. Выраженное в них дворянское оппозиционное настроение, очень далекое от подлинной революционности, сыграло, однако, значительную роль во всей дальнейшей судьбе автора. Правящие круги никогда не простили Давыдову этих „грехов молодости“, продолжая считать его „беспокойным“.

Только благодаря выдающейся храбрости и несомненному военному дарованию, выказанному в целом ряде кампаний против французов, шведов и турок в 1806—1811 гг., Давыдов к началу Отечественной войны достиг чина армейского подполковника. Смелый проект создания партизанского отряда для действий в тылу и на сообщениях армии Наполеона, поданный М. И. Кутузову накануне Бородинского боя, и затем блестящие действия этого отряда, прославили имя Давыдова в армии, в народе и выдвинули его в первые ряды героев Отечественной войны. Но с переходом армии за границу, Давыдов попал под начальство генерала-немца Винценгероде, и здесь его инициатива и смелость были расценены как недостатки.

<sup>1</sup> Портрет Давыдова — налево от портрета Кутузова.

Войну Давыдов окончил генерал-майором, командуя гусарской бригадой. В этом чине он оставался более 18 лет, то выходя в отставку, то возвращаясь на службу во время войн 1826 и 1831 гг., давших ему возможность вновь и вновь выказать недюжинные способности кавалерийского начальника и, наконец, получить давно заслуженный чин генерал-лейтенанта.

Огромная популярность Дениса Давыдова была связана не только с блестящей партизанской деятельностью в 1812 году.

Не меньше он прославился как поэт, создавший особый жанр „гусарских“ стихов, живо и ярко передававших настроения военной молодежи начала XIX века. Пламенный патриот, смелый рубака, отчаянный кутила и пылкий любовник — таков герой поэзии Давыдова, описанный с чисто кавалерийской стремительностью, чуждой чопорности и внешней, ложной красоты.

Стихи Давыдова переписывались, заучивались и расходились по русской армии. Вот отрывки наиболее типичных из них:

Ради бога трубку дай!  
Ставь бутылки перед нами,  
Всех наездников сзывай,  
С закрученными усами!  
Чтобы хором здесь гремел  
Эскадрон гусар летучих,  
Чтоб до неба возлетел  
Я на их руках могучих...  
„Гусарский пир“, 1804 г.

За тебя на чорта рад,  
Наша матушка Россия!  
Пусть французишки гнилые  
К нам пожалуют назад!  
Станем, братцы, вечно жить  
Вкруг огней, под шалашами,  
Днем — рубиться молодцами,  
Вечером — горелку пить!  
„Песня“, 1815 г.

Сегодня вечером увижусь я с тобою,  
Сегодня вечером решится жребий мой,  
Сегодня получу желаемое мною —  
Иль абшид на покой!

А завтра — чорт возьми! — как зюзя натянуся,  
На тройке ухарской стрелою полечу;  
Проспавши до Твери, в Твери опять напьюся,  
И пьяный в Петербург на пьянство прискачу...

„Решительный вечер“, 1818 г.

Уже в свои лицейские годы Пушкин хорошо знал своеобразные стихи Давыдова. В их исключительной популярности он мог убедиться в 1816—1817 гг., когда постоянно общался с кружком офицеров стоявшего в Царском Селе и Павловске гвардейского гусарского полка. В этой среде Давыдов был не только любимым поэтом, но и учителем лихой, молодецкой жизни. Вероятно, в эти же годы, может быть в литературном обществе „Арзамас“, членами которого были и Пушкин и Давыдов, произошло их личное знакомство, завязались искренние приятельские отношения.

Пушкин высоко ценил оригинальное дарование поэта-партизана и не раз высказывал мысль, что поэзия Давыдова оказала значительное влияние на его собственное творчество. Так, сыну своего друга Вяземского Пушкин говорил, что „в молодости старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил себе его манеру навсегда“. А собеседник Пушкина во время пребывания его в армии Паскевича в 1829 г., офицер Юзефович, пишет: „В бывших у нас литературных беседах, я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший: как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого. Пушкин мне ответил, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным“.

Наконец, в стихах, обращенных к самому Давыдову в 1836 г. при посылке ему „Истории Пугачева“, Пушкин писал:

Тебе певцу, тебе герою!  
Не удалось мне за тобою,  
При громе пушечном, в огне  
Скакать на бешеном коне.  
Наездник смиренного Пегаса  
Носил я старого Парнаса  
Из моды вышедший мундир:  
Но и по этой службе трудной,  
И тут, о мой наездник чудный,  
Ты—мой отец и командир...

Конечно, в этих оценках есть немалая доля дружеского преувеличения, но Давыдов действительно был исключительно одаренным, оригинальным поэтом. Верно понимавший огромное значение Пушкина и преклонявшийся перед его талантом, поэт-партизан высоко ценил такие, доходившие до него отзывы, гордился ими и не раз говорил, что приведенные выше стихи являются для него „патентом на бессмертие“.

Сохранилось много свидетельств чисто дружеского расположения Пушкина к Давыдову. Из южной ссылки великий поэт обращался к нему стихами и не раз упоминал его в письмах. В 1825 г. из Михайловского Пушкин писал Вяземскому: „Давыдов забыл меня. Сестра Ольга в него влюблена и поделом...“, после чего приводил критические замечания Давыдова о „Бахчисарайском фонтане“. В конце 20-х годов в одно из типичных стихотворений Давыдова, обращенных к „герою битв, биваков, трактиров“, Пушкин вписывает целую строфу:

Киплю, любуясь на тебя  
Глядя на прыть твою младую;  
Так старый хрыч, цыган Илья,  
Глядит на пляску удалую,  
Под лад плечами шевеля...



Д. В. Давыдов (1784—1839)



Зимой 1830—1831 года, живя в Москве, Пушкин часто виделся с Давыдовым, они вместе гостили у Вяземского в имении Остафьево. Беседы с Давыдовым и Вяземским помогали Пушкину переживать утрату умершего друга, Дельвига. А в феврале Давыдов, в числе самых близких друзей, присутствовал на „мальчишнике“ Пушкина в канун его свадьбы. В 1832 году, в письме к жене, Пушкин говорил по поводу лекции московского профессора Давыдова, что он „ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник“. И в следующие годы во время своих наездов в Москву, где зимами жил состоявший в отставке Давыдов, Пушкин встречался с ним, читал ему свои новые творения. Виделись они также в Петербурге, куда по делам приезжал Давыдов.

Помимо стихов, Д. В. Давыдов писал и прозу. Отстраненный от практической военной деятельности, он насмешливо отметил: „Не позволили драться, я стал описывать, как дрались“. Уже вскоре после окончания войны 1812—1814 гг. он пишет „Опыт теории партизанского действия“ — сочинение, в котором систематизировал сведения об этом виде войны и излагал накопленный опыт. Несмотря на явные достоинства сочинения и интерес предмета, „Опыт“ долго не печатался из-за бюрократических проволочек высшего военного начальства, которому был представлен на отзыв. На появление в печати этого образца Давыдовской прозы Пушкин откликнулся сочувственно:

Недавно я в часы свободы  
„Устав наездника“ читал  
И даже ясно понимал  
Его искусные доводы;  
Узнал я резкие черты  
Неподражаемого слога...

Привыкнув тщательно работать над стихами, Давыдов вносил в свои прозаические сочинения тот же лако-

низм, строгий отбор выражений, экспрессию описаний. До сих пор отнюдь не утратили интереса написанные им в различные годы „Воспоминания о Кульневе в Финляндии“, „Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау“, „Тильзит в 1807 г.“, „Занятие Дрездена в 1813 г.“ и др. Все эти статьи имеют характер записок очевидца, одаренного верным глазом, острым языком и умением увлекательно рассказывать.

Будучи чрезвычайно образованным человеком, непрерывно пополнявшим свои знания систематическим чтением, внимательно следя за всем печатавшимся в России и за границей о войне 1812 года, Давыдов живо отзывался на то, что задевало честь русского имени. Так, им написаны две обстоятельные статьи против помещенных в записках Наполеона ложных сведений о событиях Отечественной войны. Он опровергал их цифрами и фактами. По поводу этих статей П. А. Вяземский писал в „Московском телеграфе“: „Образ изложения мыслей и чувств, свойственный автору нашему, носит отпечаток ума быстрого и светлого; живость мыслей и чувств пробивается сквозь сухость предмета и невольно увлекает читателя“.

В 1831—1832 гг. Давыдов вел переписку с Вальтер-Скоттом и в одном из писем критически разбирал написанную английским романистом „Историю Наполеона“, подробно указав на многие ошибки, допущенные в описании действий русской армии.

Среди прозаических сочинений Давыдова немало высказываний, ярко обрисовывающих его отрицательное отношение к военным порядкам 1820—1830 гг., к парадомании, непрерывной муштровке солдат, к пруссачеству, пришедшему в русскую армию еще из Гатчинских полков Павла I. Осуждая все это, Давыдов писал: „Я не могу простить, что родные войска наши закованы в кандалы германизма“. А в „Записках о польской войне 1831 г.“

он так описывает свою встречу с гвардейским отрядом, доведенным до полного „строевого совершенства“ братом Николая I, Константином: „И подлинно я увидел истинно неподвижную Гатчину. Все затянато от глотки до пупа. Всякая пряжка, всякая пуговица, всякий ремешок, всякий солдат, вахмистр, офицер и генерал на месте, уставом им определенном. Зато какое изнурение, какие лохмотья! Как все грустно, все скудно людьми и лошадьми, хотя сей отряд ни разу еще не нюхал пороху. Педантство начальников в военное время есть тягчайший ранец, тягчайший выюк для подчиненных. Войску русскому необходима распашка, веселость и строгий порядок, без щепетильной взыскательности: тогда только оно здорово и бодро, и если к этому еще добрая пища и победы, тогда и конь топчет, и солдат хохочет, и нет для него недосыгаемого и неодолимого“. Следует ли удивляться, что писавший эти строки генерал, целиком принадлежавший к русской боевой школе Суворова и Кутузова, не находил себе постоянного места в бездарной военной системе николаевской России.

Впрочем и в стихах Давыдова порой встречаются едкие осуждающие строфы. Так, в „Современной песне“ он высмеивает напускной либерализм помещиков-крепостников, воспитанных на французской литературе:

Томы Тьера и Рабо  
Он на память знает  
И, как ярый Мирабо,  
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо  
Старого Гаврило  
За измятое жабо  
Хлещет в ус, да в рыло.

А глядишь наш Лафает,  
Брут или Фабриций  
Мужиков под пресс кладет  
Вместе с свекловицей...

Как прозаик Давыдов активно сотрудничал в издававшемся Пушкиным журнале „Современник“. Сохранилось несколько раздраженно-горестных писем Пушкина к Давыдову по поводу жестоких цензурных купюр в его военных статьях. А когда Сенковский в своем журнале „Библиотека для чтения“, редактируя, „выправил“ некоторые стихи Давыдова, Пушкин возмущенно восклицает: „Сенковскому учить Давыдова русскому языку, все равно, что евнуху учить Потемкина“.

К творчеству своего гениального друга Давыдов относился с глубоким интересом и искренним восхищением. В письме к поэту Языкову он выказал большую осведомленность о режиме работы Пушкина, отмечая, что „он запоем пишет осенью“. В письмах к Вяземскому постоянно шлет поклоны Пушкину, спрашивает о здоровье, поручает „взять за бакенбарды и поцеловать в ланиту“, высказывает нетерпенье по поводу затянувшегося выхода в свет „Истории Пугачева“, спрашивает, что в это время пишет Пушкин и одно из писем оканчивает так: „Да ради Бога, заставьте его продолжать «Онегина»: эта прелесть у меня вечно в руках, — тут все для сердца и для смеха“.

И, наконец, в феврале 1837 г. к тому же, их общему с Пушкиным другу, Давыдов писал: „Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила; я до сих пор не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и который был при последних минутах его, скажи мне, ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергать многое, разглашаемое здесь *бабами обою пола*... Пожалуста, не поленись и уведомя меня обо всем с начала до конца и как можно скорей. Какое ужасное несчастье! Какая потеря для России! Действительно, это всенародное несчастье! Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобной смертью на полях сражений, но тогда я сам разделял с

ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это бог знает какое несчастье!...”

Месяц спустя, уже зная все подробности смерти Пушкина, о его мужестве на дуэли и в предсмертных страданиях, Давыдов вновь писал: „Веришь ли, что я до сих пор не могу опомниться, — так эта смерть поразила меня. Пройдя сквозь огонь Наполеоновских и других войн, многим подобным смертям я был виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если умирать, то умирать так должно, а не так, как умирают те из знакомых нам с тобой литераторов, которые теперь втихомолку служат молебны и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то и гением, и чувствами и жизнью и смертью парит над нами! И эти навозные жуки думали соперничать с этим громодержавным орлом“.

Д. В. Давыдов пережил своего гениального друга всего на два с небольшим года. В 1839 г. он начал хлопотать о перенесении на Бородинское поле праха Багратиона (при котором когда-то состоял адъютантом и память которого свято чтит) из села Симы, Владимирской губернии, где тот был похоронен в 1812 г. Церемония эта была назначена на август 1839 г., когда под Бородиным готовились большие маневры и открытие памятника павшим воинам. Давыдов был назначен командовать почетным конвоем при перевезении праха Багратиона. Но он не дожид до Бородинской годовщины, скоропостижно скончавшись 22 апреля за письменным столом, всего на 55 году.

Разбирая творчество поэта-партизана, В. Г. Белинский писал: „Давыдов, как поэт, решительно принадлежал к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии... Талант Давыдова не великий, но удивительно самобытный и яркий“.

Замечательная и оригинальная личность Дениса Давыдова, прямодушного, острого, талантливого, храбреца и пылкого патриота привлекала внимание современников. Достаточно напомнить, что ему, кроме Пушкина, посвятили свои стихи Жуковский, Баратынский, Языков, Вяземский, А. Бестужев, Ф. Глинка, Воейков, Растопчина, Зайцевский и многие другие.

В романе „Война и мир“ Л. Н. Толстой, создавая образ лихого гусара-партизана Васьки Денисова, придал ему многие черты биографии и характера Д. В. Давыдова, сохранив даже внешнее сходство — малый рост, курчавые волосы и т. п.

На портрете Доу Давыдов изображен в форме Ахтырского гусарского полка, в рядах которого он начал кампанию 1812 года и которым командовал в 1813 г. На груди Давыдова орден Георгия 4-й степени, полученный за партизанскую деятельность в Отечественную войну. Над лбом видна седая прядь, которая позволила одному из поэтов назвать ее владельца „бойцом чернокудрявым, с белым локоном на лбу“. Несмотря на то, что портрет Галереи писан не с натуры, а с неизвестного нам, присланного Давыдовым художнику, изображения, на нем хорошо видна и характерная особенность лица Давыдова — небольшой вздернутый нос. О нем в русской армии ходил анекдот, записанный Пушкиным в „Застольных разговорах“ (Table talk), возможно, со слов самого владельца: „Денис Давыдов явился раз в авангард к кн. Багратиону и сказал: «Главкомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу и просит вас немедленно отступить». Багратион отвечал: «Неприятель у нас на носу? На чем? Если на вашем, так он близко, а коли на моем, так мы успеем еще отобедать»“.

Юный лицеист Пушкин, несомненно, не раз видел генерал-майора Василия Васильевича Левашева,<sup>1</sup> который с 1815 г. командовал лейб-гвардии гусарским полком, квартировавшим в Царском Селе и Павловске. А во время пребывания поэта в последнем классе Лицея произошло и более близкое знакомство. По приказу Александра I, лицеистам, многие из которых собирались в военную службу, начали преподавать фортификацию, артиллерию и тактику, а также обучать их верховой езде. Один из товарищей Пушкина пишет: „Мы ходили два раза в неделю в гусарский манеж, где на лошадях запасного эскадрона учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить. Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот ее куплет:

Bonjour monsieur! Потеше,  
 Поводьем не играй —  
 Вот я тебя потешу!..  
 A quand l'équitation? <sup>2</sup>

В этой не очень складной строфе, сочиненной насмешливыми и наблюдательными юношами, верно запечатлелся образ внешне лощеного, но по существу грубого человека. Французское приветствие, обращенное к лицеистам, прерывается угрожающим окриком по адресу обучаемых езде гусар, после чего, как ни в чем не бывало, генерал возвращается к любезным французским фразам. Даже для того жестокого времени всемерно наса-

<sup>1</sup> Портрет Левашева — слева от портрета Давыдова, 4-й в нижнем ряду.

<sup>2</sup> „Когда же (будем заниматься) верховой ездой?“

ждаемой Александром I „фрунтомании“, Левашев был редкостным истязателем солдат и беззастенчиво их обворовывал. Один из служивших под его командой офицеров пишет в своих воспоминаниях: „Он был своекорыстен и вытягивал из полка всевозможные доходы, в особенности от обмундирования и фуража. Левашев был очень жесток с нижними чинами: многих гусар и унтер-офицеров вогнал в чакотку, беспощадно наказывая фухтелями“.<sup>1</sup>

Другой современник рассказывает, как, по приказу Левашева, гусар наказывали в его квартире. Сидя в соседней комнате и преспокойно завтракая, командир полка покрикивал между глотком вина и куском жаркого: „Громче! Удара не слышу! Крепче бей!“

Очень вероятно, что этот отвратительный образ генерала-живодера, характеристику которого поэт должен был знать от своих приятелей — гусарских офицеров, а может быть и личные впечатления от какой-нибудь жестокой расправы Левашева с солдатами Пушкин имел в виду, когда в „Послании к Орлову“ писал:

О ты, который, с каждым днем  
Вставая на военну муку,  
Усталым усачам верхом  
Преподаешь царей науку,  
Но не бесчестишь сгоряча  
Свою воинственную руку  
Презренной палкой палача...

Кажется вероятным, что виденное в гусарском манеже и сама личность Левашева среди других впечатлений военной службы александровского времени имели значение в отказе Пушкина от желанья избрать военную карьеру, к которой он так стремился в юношеские годы и, по мнению некоторых современников, был как бы

<sup>1</sup> Наказание фухтелями, перенятое у пруссаков в XVIII в., заключалось в избивании шомполами.



В. В. Левашев (1783—1848)



предназначен по неизменному живому интересу к военным наукам и не раз проявленной редкой храбрости.

По свидетельству сослуживцев, Левашев был невеждой в области тактики, плохо знал управление строем полка в полевой обстановке, но тем яростнее допекал всех чинов своей части мелочными придирками. В то же время он мнил себя великим стратегом и даже у себя за столом не переставал нудно поучать приглашенных, выставляя свою военную „мудрость“. Подчиненные не любили и не уважали Левашева, который и во время Отечественной войны ничем не отличился, кроме ловкости наездника и лихости в кавалерийских атаках. Конечно, и это все знал Пушкин от своих приятелей-офицеров лейб-гусарского полка — Чаадаева, Каверина, Раевского и др.

Александр I неизменно „благоволил“ к Левашеву, а при Николае I он особенно быстро пошел в гору. Исходной точкой блестящей карьеры Левашева явилось 14 декабря 1825 г., когда командир лейб-гусар безотлучно находился при царе на Сенатской площади, за что был награжден чином генерал-лейтенанта. В следующие дни Левашев вел первые допросы содержащихся на дворцовой гауптвахте декабристов, происходившие в залах Эрмитажа.<sup>1</sup> Здесь побывали многие друзья и знакомые Пушкина: Рылеев, А. Бестужев, Пущин, Якубович и др. Допрашивал декабристов Левашев и в Петропавловской крепости, был членом суда над ними, и петербургская молва называла его имя в числе лиц, „умолявших“ царя не смягчать участи осужденных.

В 1832 г. Левашев был назначен на важный пост Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора, а через год получил графский титул.

<sup>1</sup> Где теперь выставлено итальянское искусство XIV—XVI вв., зал Леонардо-да-Винчи.

В Киеве он прославился бестактными и грубыми выходками по адресу 70-летнего фельдмаршала Сакена, командовавшего I армией, штаб которой находился в том же городе, а также вандализмом по отношению к киевской старине. „Наводя порядки“, генерал-губернатор срывал древние Киевские валы, рубил старые тополевыe аллеи и т. д., так что между ним и местным митрополитом, пытавшимся защищать древности, шла постоянная резкая переписка.

В 1838 г. Левашев был назначен членом Государственного Совета, продолжал получать награды и отличия, назначался членом различных комитетов и комиссий, вершивших судьбы империи, и вплоть до смерти оставался одним из наиболее приближенных и доверенных слуг Николая I.

В те годы, когда Пушкин должен был чаще бывать в Зимнем дворце, Левашев появлялся здесь ежегодно, приезжая в Петербург с докладами об управлении порученного ему края, и они могли встречаться на парадных церемониях.

Доу изобразил Левашева в столь хорошо знакомой Пушкину парадной форме лейб-гвардии гусарского полка. Портрет прекрасно передает ординарную и тупую внешность истязателя солдат и следователя декабристов. Не случайно одного его из всех позировавших генералов художник показал горделиво подбоченившимся, в классической позе военного щеголя начала XIX ст., очевидно свойственной Левашеву.

#### П. М. ВОЛКОНСКИЙ

В те же последние годы пребывания в Лицее Пушкин мог часто наблюдать коренастую фигуру и брюзгливое выражение лица одного из наиболее близких Александру I людей — начальника главного штаба, гене-

рала-от-инфантерии князя Петра Михайловича Волконского.<sup>1</sup>

Происходивший из небогатой ветви старинной княжеской семьи, товарищ детских игр Александра и его адъютант в царствование Павла, молчаливый свидетель, если не косвенный участник, заговора, закончившегося 11 марта 1801 г. убийством Павла, Волконский неизменно сопровождал царя во время войн с Наполеоном, путешествий по России и разъездов на конгрессы „Священного союза“. А когда Александр жил в своей излюбленной летней резиденции — Царском Селе, Волконский являлся его частым собеседником, спутником на прогулках и ученьях гвардейских частей, а также ежедневным докладчиком по всем текущим военным вопросам, так как в эти годы начальнику главного штаба был подчинен и военный министр.

В войнах 1805—1814 гг. Волконский не раз проявлял выдающуюся храбрость. Так, например, под Аустерлицем он, спешившись, со знаменем в руках, трижды водил в штыковую атаку пехотную бригаду и отбил два французских орудия.

Но наибольшую известность Волконский заслужил как деятельный организатор русского главного и генерального штабов, руководивший составлением первой сводной карты России, создавший собрание карт иностранных государств, первую большую военную библиотеку, первую мастерскую астрономических и математических инструментов для военных съемок и, наконец, училище колонновожатых, т. е. офицеров генерального штаба.

При дворе занимала видное положение и сестра П. М. Волконского, некрасивая старая дева. Она состояла фрейлиной царицы и летом жила в Царскомель-

<sup>1</sup> Портрет Волконского — в нижнем ряду, слева от портрета Александра I.

ском Екатерининском дворце, в помещениях, непосредственно прилегавших к зданию Лицея и сообщавшихся с ним крытым переходом, которым часто пользовались лицеисты. Однажды, проходя вечером по коридору близ дверей квартиры фрейлины, Пушкин услышал в темноте шелест женского платья. Решив, что это — хорошенькая горничная Волконской, Наташа, с которой он был близко знаком и которой посвятил стихи „Вянет, вянет лето красно“, юный поэт устремился на шорох. Он едва успел обнять девушку, как отворилась ближняя дверь, и, о ужас!—Пушкин увидел перед собой княжну Волконскую. Он бросился бежать, а негодующая фрейлина, отыскивая своего влиятельного брата, пожаловалась ему на неслыханную дерзость лицеиста. В тот же вечер Волконский доложил о случившемся Александру и выразил свое возмущение директору Лицея, Энгельгардту. А на другой день и царь потребовал объяснений от Энгельгардта. Директор изобразил в ярких красках отчаяние Пушкина, сказал, что юноша просит позволения написать княжне письмо с извинениями и сумел так объяснить дело, что Александр смягчился и сказал, посмеиваясь: „Между нами, — старая дева, быть может, в восхищении от ошибки молодого человека...“ Тем и кончилось происшествие, причинившее много волнений Энгельгардту, Пушкину и его товарищам. Памятником этому случаю остался следующий экспромт поэта:

On peut très bien, mademoiselle,  
Vous prendre pour une maquerelle,  
Ou pour une vieille guenon,  
Mais pour une grâce,—oh, mon Dieu, non!

Это четверостишие В. Я. Брюсов перевел так:

Сударыня, могу сказать,  
За сводню можно вас принять,  
И на мартышку вы похожи,  
На грацию-ж... помилуй боже!



П. М. Волконский (1776—1852)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



Благополучная карьера Волконского поколебалась только однажды, в 1823 г., когда у него произошла резкая размолвка с Аракчеевым из-за смет Военного министерства. Волконский много лет ненавидел этого своего соперника по близости к Александру, и в письмах к друзьям называл всесильного графа не иначе, как „проклятым змием“. В столкновении пересилил, конечно, Аракчеев, и Волконский, оставив место начальника главного штаба, уехал „лечиться“ в Карлсбад, а затем получил дипломатическое поручение в Париж. Однако в 1825 г. он опять состоял при Александре и сопровождал его в последней поездке в Таганрог.

Летом 1824 г. жена Волконского с дочерью приехала на морские купанья в Одессу. Здесь они познакомились с Пушкиным, и при отъезде их в Петербург поэт отправил с ними А. И. Тургеневу письмо, содержащее резкую характеристику неприязненных отношений с Воронцовым и извещение, что подал в отставку.

В первый год царствования Николая I П. М. Волконский был назначен министром двора и на этом посту оставался 26 лет, вплоть до смерти. Когда в конце февраля 1832 г. Пушкин, собирая материалы для „Истории Петра Великого“, захотел ознакомиться с библиотекой Вольтера, в которой находились ценные материалы, пересланные в свое время Вольтеру И. И. Шуваловым, он просил на это разрешения у шефа жандармов Бенкендорфа. Библиотека Вольтера хранилась в Эрмитаже<sup>1</sup> и подлежала, как и весь Эрмитаж, ведению министра двора, Волконского. После доклада Николаю, Бенкендорф сообщил Волконскому о допуске Пушкина к занятиям, и в деле имеется пометка министра двора: „Допустить известного сочинителя Пушкина рассмотреть

<sup>1</sup> Там, где ныне расположены 2-й и 3-й залы Отдела Античной культуры и искусства.

хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера“. Мы не знаем, к сожалению, сколько раз бывал в ней Пушкин. Сохранилась только одна запись поэта о посещении ее 10 марта 1832 г., а также сделанный им набросок со статуи Вольтера, работы Гудона, стоявшей в библиотеке.<sup>1</sup>

Может быть, в результате одесского знакомства с княгиней Пушкин бывал у Волконских в Петербурге. Так, 8 февраля 1833 г. поэт, уже женатый, был с Натальей Николаевной на блестящем балу-маскараде в их „покоях“ в бельэтаже Зимнего дворца.<sup>2</sup> В письме Нащокину, написанном через несколько дней после этого, Пушкин сообщал: „...Нет у меня досуга вольной, холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде, все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения“.

И как раз в эти самые дни от П. М. Волконского ждал поэт хоть временного облегчения своих материальных затруднений. Уже за несколько месяцев до этого, Пушкин, от имени своей жены, предложил министерству двора приобрести огромную бронзовую статую Екатерины II, купленную в конце XVIII в. прадедом Пушкиной, Гончаровым. Еще летом 1832 г. авторитетная комиссия из академиков-скульпторов, по поручению Волконского, осмотрела статую и дала заключение, что она стоит более 25 тысяч рублей, — сумма, которую за нее просил Пушкин. 18 февраля 1833 г. от имени Н. Н. Пушкиной, но, конечно, опять самим поэтом, было написано письмо Волконскому с просьбой дать окончательный ответ по поводу покупки статуи, а 25 февраля министр двора ответил изложенным в самых изысканных выражениях, но безоговорочным отказом, в котором ссылался на „весьма

<sup>1</sup> Теперь выставлена в залах французского искусства XVIII в.

<sup>2</sup> Где теперь находится выставка европейского оружия XV—XVIII вв. и мастерские реставрации живописи.

затруднительное положение, в котором находится Кабинет его величества, отчего не может делать никаких приобретений“. Несомненно, такой ответ был тяжким ударом по денежным расчетам Пушкина, который предполагал, что часть этой суммы останется у него в уплату денег, данных в долг теще, Н. И. Гончаровой, еще перед свадьбой.

Надо заметить, что отказ Волконского не был, по всей вероятности, продиктован действительным положением финансовых дел министерства двора. Крайняя скупость Волконского была общеизвестна и вошла в поговорку. Среди придворных он носил прозвище „Le prince Non“ — „Князь Нет“ за неизменные отрицательные ответы на все обращенные к нему просьбы. В то же время, по отзывам современников, сам Волконский отнюдь не был чужд любви к деньгам.

По поводу столь близко знакомой ему скупости министра двора и в то же время свидетельствуя о неотступно преследовавших его материальных затруднениях, Пушкин записал в своем дневнике 8 февраля 1835 года: „Бриллианты и дорогие камни были еще недавно в низкой цене. Они никому не были нужны. Выкупив бриллианты Натальи Николаевны, заложенные в Московском ломбарде, я принужден был их перезаложить в частные руки, не согласившись продать их за бесценок. Нынче узнаю, что бриллианты опять возвысились. Их требуют в Кабинет, и вот по какому случаю. Недавно государь приказал князю Волконскому принести ему из Кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9.000 руб. Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно бедна. «Дороже нет», — отвечал Волконский. — «Если так, делать нечего, — отвечал государь, — я хотел тебе сделать подарок — возьми ее себе». Вообразите себе рожу старого скряги. С этой поры начали требовать брил-

лианты. Теперь в Кабинете табакерки завелись уже в 60.000 руб.“

Надо помнить, что Волконский как министр двора являлся хотя и не прямым, но высшим начальством всех лиц, носивших придворные звания, и в их числе камерюнкера Пушкина, с которым постоянно встречался во дворце.

Наконец, в доме жены Волконского, на Мойке, великий поэт жил с осени 1836 г. и умер 29 января 1837 г.

Внешним обликом, так ярко воспроизведенным на портрете работы Доу,<sup>1</sup> а также постоянным брюзжанием, Волконский напоминал старую ворчливую женщину. Недаром в известной агитационной „Песне“ Рыльева сказано:

Князь Волконский — баба,  
Начальник штаба...

#### АЛЕКСАНДР I

Отрицательное отношение Пушкина к Александру I как к человеку и государственному деятелю сформировалось еще в лицейские годы.

Подростком поэт пережил короткий период поклонения царю, который представлялся в 1813—1815 гг. очень многим и вполне зрелым людям не иначе, как в ореоле славы победителя Наполеона и умиротворителя Европы. О внедрении в сознание молодежи таких представлений пеклись окружавшие лицеистов наставники. Свидетельством этих настроений является написанное 15-летним поэтом стихотворение „К Александру“, связанное с его возвращением из Парижа. Но, став юношей, слыша рассказы очевидцев о действительной роли царя в 1807—1814 гг. и на Венском конгрессе, ловя известия о том,

<sup>1</sup> Другой парадный портрет Волконского, уже стариком, работы Крюгера, показан на выставке немецкого искусства XIX в.

что происходило после войны за стенами Лицея в родной стране, много читая, встречаясь с критически мыслящими людьми, как Чаадаев, Н. Тургенев и другие, Пушкин очень быстро понял глубоко реакционную роль Александра. Он увидел действительную политическую сущность этого организатора „Священного союза“, душителя свободной мысли во всей Европе, а в России — создателя военных поселений и покровителя мракобесов (вроде архимандрита Фотия и „гасителя просвещения“ Магницкого), не перестававшего, однако, наряду с этим, ронять звучные либеральные фразы.

В те же годы Пушкин невольно наблюдал повседневную жизнь Александра I, его страсть к показной муштре солдат, — недавних победителей французов, — которых на смотрах, под личным руководством царя, заставляли мучительно „тянуть носки“, „печатать“ церемониальный шаг различной, строго установленной ширины и т. д. Недаром в упомянутом выше „Послании к Орлову“ поэт назвал строевые учения этого времени „военной мукой“ и „дарей наукой“. Несомненно, здесь же, в Царском Селе, поэт слышал о многочисленных любовных похождениях Александра, проходивших почти на глазах лицеистов, в маленьком дворцовом мирке. И это тоже не возвышало авторитета самодержца.

Уже в Лицее Пушкин пишет эпиграмму „Двум Александрам Павловичам“, где сравнивает царя с презируемым им самим и его товарищами, глупым и подлым помощником гувернера Зерновым. В 1818 г. появляется прославленная „Сказка“ (Noël):

Ура, в Россию скачет  
Кочующий деспот...

В ней с острой насмешкой показан Александр I, кичащийся влиянием на европейскую политику. Приехал с очередного конгресса „Священного союза“, объединяв-

шего реакционные силы России, Пруссии и Австрии, царь самодовольно „вещает“:

„Узнай народ российский,  
Что знает целый мир:  
И прусский и австрийский  
Я сшил себе мундир.  
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;  
Меня газетчик прославлял:  
Я ел, и пил, и обещал —  
И делом не измучен“.

И вслед затем переходит к обещаниям, пародирующим либеральные речи Александра I:

Закон постановляю на место вам Горголи<sup>1</sup>  
И людям я права людей,  
По царской милости моей,  
Отдам из доброй воли“.

Далее в „Сказке“, облеченной в форму Noël'я — народной старо-французской святочной песни — раскрывается должное отношение подданных к лживым обещаниям царя. Многоопытная мать Мария говорит младенцу-Христу, поверившему было словам Александра:

„Уснуть уж время, наконец,  
Ну, слушай же, как царь-отец  
Рассказывает сказки!“

Вслед затем появилась эпиграмма:

Воспитанный под барабаном,  
Наш царь лихим был капитаном:  
Под Австерлицем он бежал,  
В Двенадцатом году дрожал,  
Зато был фрунтовой профессор!  
Но фрунт герою надоел —  
Теперь коллежский он ассессор  
По части иностранных дел.

<sup>1</sup> Горголи — петербургский обер-полицеймейстер.

В этих восьми строках изложена со свойственным Пушкину лаконизмом и остротой вся жизнь Александра, от гатчинской плацпарадной школы юности до разъездов по конгрессам „Священного союза“, созданного для подавления национально-освободительного и революционного движения в Европе.

Оба стихотворения пользовались исключительной популярностью, переписывались во множестве экземпляров, заучивались наизусть военной молодежью. Их, среди других „вольнолюбивых“ стихов Пушкина, называли многие декабристы, перечисляя литературные произведения, сыгравшие роль в формировании политических убеждений членов Тайных обществ.

После смерти Александра Пушкин не раз возвращался к оценке его личности и деятельности. Так, сожженная в 1830 году X глава „Онегина“, начиналась характерной строкой царя:

Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый щеголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой,  
Над нами царствовал тогда...

Неоднократно, говоря о событиях 1812 года, великий поэт с трезвостью историка и художника неизменно относил победу над французами за счет подъема народных сил и искусства русских полководцев, никогда не приписывая и доли ее царю. Но он не раз отмечал то ведущее положение, которое благодаря русским победам занял Александр на Венском конгрессе и в последующие годы существования „Священного союза“, используя это положение в целях укрепления реакционной политики царизма.

Портрет Александра I, работы Ф. Крюгера, находящийся теперь в Галерее, не был известен Пушкину. Он, как мы уже говорили, был написан только в 1837 г. Но тогда это место занимал столь же крупный кон-

ный портрет Александра, работы Доу. Ни этого портрета, ни точного его воспроизведения мы не знаем, и о его художественных качествах не можем судить. Но до нас дошла резкая критика П. П. Свиньина, очевидно сформулировавшего те недостатки, за которые портрет и был убран из Галереи. Лыстец-Свиньин пишет: „Напрасно будете искать в лице великодушного победителя той ангельской улыбки, которая обвораживала парижан... Из сего мрачного взгляда на сем равнодушном челе — он [посетитель] ничего не откроет, ничего не прочтет...“ Вероятно, Доу слишком реалистически передал одну из наиболее холодных и мрачных масок Александра I, не обычную при появлении его перед подданными.

Еще бабка царя, Екатерина II, называла его „великим актером“, и таким он остался на всю жизнь. Мы знаем, что чаще всего, бывая на людях, Александр улыбался „ангельской“ улыбкой, так прославленной верноподданными современниками, в то же время сохраняя мрачную складку бровей, изобличавшую сущность его натуры. Именно таков канонический портрет Александра в живописи и скульптуре.

Тот же отпечаток носит лицо царя и на портрете Ф. Крюгера. Этому странному контрасту верхней и нижней частей лица посвящена эпиграмма Пушкина, написанная в 1829 г. при взгляде на бюст Александра, работы Торвальдсена, стоявший в Публичной Библиотеке:

Напрасно видишь тут ошибку:  
Рука искусно навела  
На мрамор этих уст улыбку,  
И гнев на хладный лоск чела.

Недаром лик сей двуязычен.  
Таков и был сей властелин,  
К противочувствиям привычен,  
В лице и в жизни — Арлекин.

С 1815 г., с того времени, когда Александр I, став во главе „Священного союза“, почти всецело занялся вопросами европейской политики, Россией управлял генерал-от-артиллерии, граф Алексей Андреевич Аракчеев.<sup>1</sup>

Включительно до 1825 г. он был постоянным докладчиком царю по всем вопросам внутренней жизни России, ему докладывали министры, кроме возглавлявшего главный штаб кн. П. М. Волконского, да и того, как мы знаем, Аракчеев в 1823 г. убрал со своего пути. Единственный раз за время существования императорской России временщику дано было Александром право отдавать приказы, сила которых равна была царским „повелениям“.

Бедный новгородский дворянин, буквально на медные гроши учившийся у деревенского дьячка, с большим трудом зачисленный в кадетский корпус, затем усерднейший артиллерийский офицер, на свое счастье попавший в Гатчинские войска цесаревича Павла, — Аракчеев сделал блестящую и быструю карьеру. За пятилетнее царствование Павла он шагнул от неизвестного армейского подполковника до любимца царя, графа, богатого помещика, кавалера высших орденов, генерал-лейтенанта. Мало образованный и лишенный широкого кругозора государственного деятеля, но исключительно работоспособный и великий мастер угодничества под маской смирения и преданности, Аракчеев расчетливо выставлял напоказ царю свою бедность и отсутствие связей с родовитыми придворными кругами. „У меня только бог да вы“, — воскликнул он однажды, обращаясь к Павлу. Очень характерен девиз, вписанный собственноручно царем в герб Аракчеева: „Без лести предан“. Таким Аракчеев казался своему господину, но современники неизменно произносили: „Бес лести предан“.

<sup>1</sup> Портрет Аракчеева — над портретом Волконского.

В царствование Александра с 1803 г. Аракчеев был инспектором артиллерии, а с 1808 г. по 1810 г. военным министром. Чуждый обычным недостаткам своих предшественников — барской лени и незнанию деловой стороны службы, энергичный, упорный и требовательный к подчиненным, Аракчеев полон был других пороков — жестокости, мстительности, угодничества, мелочности и лицемерия.

Последние качества сказались особенно ярко, когда в 1816 г. Александр возложил на своего любимца создание военных поселений. Это учреждение имело целью образовать „новое сословие наследственных воинов“, одновременно с совершенной солдатской выучкой обрабатывавших землю как крестьяне, и потому ничего не стоивших казне. Учреждение, теоретически столь заманчивое, вводимое наперекор здравым экономическим расчетам, обходилось государству непомерно дорого в связи с затратами на огромные постройки, обзаведение скотом, сельскохозяйственным инвентарем, и встречало активное противодействие со стороны государственных крестьян, насильственно обращаемых в наследственное военное сословие.

На этом поприще Аракчеев показал все свое умение любой ценой заслужить царское „благоволение“. Он, не покладая рук, составлял лично и редактировал сотни приказов, инструкций, правил, следил за постройками и распоряжался экзекуциями непокорных. Особенно прославился он расправой 1817 года, в Чугуеве, где недавние вольные казаки упорно не желали становиться поселенными уланами. Много было здесь пролито крови, сотни людей забиты шпидрутенами на месте.

Пройдя всю службу в эпоху непрерывных войн и достигнув чина генерала-от-артиллерии, Аракчеев никогда не бывал ни в одном сражении. Запах пороха он знал только по учебным стрельбам, во время которых щедро раздавал жестокие наказания солдатам, героям Бородина и Лейпцига. Невозможно представить себе более нена-



А. А. Аракчеев (1769—1834)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



вистную современникам личность, чем Аракчеев. Его именем буквально пугали детей. Народные песни сохранили его мрачный образ.

В те годы, когда Пушкин учился в старших классах Лицея, Аракчеев был в зените своего могущества. Наряду с П. М. Волконским, он являлся постоянным докладчиком Александра во время его пребывания в Царском Селе и не раз сопровождал царю в прогулках по дворцовым паркам. Чрезвычайно непривлекательную, сутулую, длиннорукую фигуру всемогущего графа, по свидетельству видевших его — „похожего на обезьяну в мундире“, мог встретить здесь юный лицеист. В это же время Пушкин узнавал о той роли, которую играл Аракчеев в жизни его родины.

До нас дошли две эпиграммы, написанные поэтом в начале 1820 гг. Первая из них некоторыми современниками относилась к другому лицу, но характерно, что в тогдашних списках чаще связывалась именно с Аракчеевым:

Холоп венчанного солдата,  
Благодари свою судьбу!  
Ты стойшь лавров Герострата  
Иль смерти немца Коцебу...<sup>1</sup>

Но вторая уже, несомненно, рисует Аракчеева:

Всей России притеснитель,  
Губернаторов мучитель,  
И Совета он учитель,  
А царю он друг и брат.  
Полон злобы, полон мести,  
Без ума, без чувств, без чести,  
Кто ж он, „преданный без лести?“  
Просто грошевой солдат.

В 1826 г., после смерти Александра, Аракчеев навсегда утратил какое-либо значение, вышел в отставку и доживал

<sup>1</sup> Коцебу — известный реакционер, приверженец „Священного союза“, тайный агент Александра в Германии, убитый в 1819 г. студентом Зандом.

в своем богатом имении Грузино, тираня крепостных и дворовых. Только смертью он напомнил о себе.

16 апреля 1834 г. Пушкин записал в своем дневнике: „Умер Аракчеев, и смерть этого самодержца не произвела никакого впечатления“.

В другой записи дневника того же года, рассказывая об обеде у Сперанского, поэт приводит свою фразу, сказанную хозяину дома о его деятельности при Александре I: „Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении добра и зла“. Отбросив долю светского преувеличения в отношении Сперанского, остается определение Аракчеева, как „гения зла“, которое, вместе с титулом „самодержца“ в записи 16 апреля, рисует роль этого временщика именно такую, как воспринимали ее современники.

Портрет, написанный Доу, дает, очевидно, смягченный, но все же непривлекательный внешний облик: низкий лоб, жесткие коротко стриженные волосы, толстый нос, тяжелый взгляд небольших мутно-зеленых глаз. Выражение лица бывало обычно грубым, мрачным и холодным. Характерна подчеркнутая скромность общеармейского вицмундира и нарочитое отсутствие орденов, кроме высшего — звезды Андрея Первозванного — и нагрудного портрета Александра I — знака особой царской милости. Над этим портретом видна серебряная медаль, дававшаяся за боевое участие в событиях 1812 года. Между тем, по своей исключительно „мирной“ деятельности и потому что в 1812—1814 гг. он только „состоял при императоре“, не командуя соединениями войск, не руководя определенной областью управления армией, Аракчеев, казалось бы, не имел права ни на эту медаль, ни на то, чтобы портрет его был помещен в Галерею наряду с изображениями активных участников боевых дел этих лет. Но и в Галерею, как всюду, дорога „другу и брату“ императора была широко открыта.

Портрет Аракчеева помечен 1824 годом, именно тем временем, когда вся Россия трепетала при его имени. Есть сведения, что для исполнения его Доу ездил в Грузино, находившееся недалеко от Петербурга в Новгородской губернии, на р. Волхов.

М. А. МИЛОРАДОВИЧ

В 1812—1820-х годах популярность ненапечатанных „вольнолюбивых“ стихов Пушкина была очень велика. Как свидетельствует современник поэта, — „Везде ходили по рукам, переписывались и читались его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов“.

В столице и в провинции через самый краткий срок после написания уже передавались смелые строки:

Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы.  
Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

„К Чаадаеву“

Или:

Питомцы ветреной судьбы,  
Тираны мира! Трепещите!  
А вы, мужайтесь и внемлите,  
Восстаньте, падшие рабы!  
Увы! Куда ни брошу взор,  
Везде бичи, везде железа,  
Законов гибельный позор,  
Неволи немощные слезы:  
Везде неправедная власть...

Ода „Вольность“

А написавший это молодой поэт продолжал почти публично высказывать свой образ мыслей, ненависть к самодержавию, сыпал остротами и эпиграммами на высших чиновников, царя и политические события.

Благодаря огромной популярности Пушкину же приписывалось и все, что было тогда в обращении из противоправительственных стихов и острот, принадлежавших другим авторам.

В апреле 1820 г. власти решили подвергнуть Пушкина строгому наказанию. В квартиру его подослали агента, который безуспешно пытался подкупить слугу поэта и получить рукописи его ненапечатанных сочинений. Узнав об этом, Пушкин приготовился к обыску и сжег все свои нелегальные стихи. Вслед затем он был вызван к бывшему Петербургским генерал-губернатором, графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу.<sup>1</sup>

Вот как описывает встречу Пушкина с Милорадовичем один из ближайших друзей поэта, отсутствовавший в это время из Петербурга, но собиравший сведения менее чем через месяц после событий: „Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, Петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». Милорадович, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleresque!»,<sup>2</sup> и пожал ему руку. Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести

<sup>1</sup> Портрет Милорадовича — слева от портрета Волконского.

<sup>2</sup> „Ах! Это по-рыцарски!“



М. А. Милорадович (1771—1825)



графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейших приказаний“.

Рассказ этот в общих чертах сходится и с другими свидетельствами. Существует, однако, ряд добавлений, наиболее существенное из которых говорит, что Пушкин не написал у Милорадовича эпиграммы на царя и Аракчеева, понимая, что за эти колкие строки особенно пострадает.

На другой день генерал-губернатор представил Александру все написанное поэтом. Между тем, по городу разнеслись уже слухи, что Пушкина ссылают в далекие места с суровым климатом. Называли Сибирь и Соловецкие острова. Друзья поэта всполошились и стали деятельно хлопотать о смягчении его участи. Карамзин, Жуковский, Энгельгардт, Гнедич, Чаадаев, Оленин действовали различными путями на царя, его мать, Марию Федоровну, и графа Каподистрия, непосредственного начальника поэта (Пушкин числился на службе в Коллегии иностранных дел). В то же время служивший для особых поручений при Милорадовиче полковник Ф. Глинка, посредственный поэт, но восторженный поклонник Пушкина, старался настроить в его пользу своего начальника, растолковывая весьма мало сведущему в литературе генералу значение великого таланта „крамольного“ юноши.

Через несколько дней, благодаря всем этим хлопотам, участь Пушкина была решена сравнительно мягко — его выслали на службу в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Поэт выехал из Петербурга 6 мая 1820 г. с казенной подорожной, подписанной, по всей вероятности, тем же генерал-губернатором Милорадовичем.

Сыгравший в этом эпизоде жизни Пушкина столь заметную роль, генерал-от-инфантерии М. А. Милорадович начал боевую службу в войну со Швецией в 1788 г. и почти непрерывно продолжал ее до взятия Парижа в 1814 году.

Имя его приобрело известность во время Итальянского и Швейцарского походов Суворова 1799 года, когда он, тогда 27-летний генерал-майор, не раз заслужил похвалы великого полководца быстротой действий и презрением к смерти. Теми же качествами отличался Милорадович и как сподвижник Кутузова в войны 1805 г. и 1812 г., в промежутке между которыми сражался с турками в Валахии и на Дунае. В 1813 г. он успешно действовал под Бауценом и Кульмом, а начиная с Лейпцигского сражения командовал гвардейским корпусом.

Малообразованный, не обладавший глубоким умом и широким кругозором, Милорадович был только смелым исполнителем возлагаемых на него боевых заданий. В армии ходили десятки анекдотов о его грубых ошибках во французском языке, которым он любил, однако, блеснуть, о наивном хвастовстве своими боевыми делами и графским титулом, полученным за них в 1813 г., и, наконец, о его уверенности в собственной неотразимости для особ женского пола. Широко известна была его несколько безалаберная доброта и расточительность: он вечно был без денег, тратя их на различные прихоти или раздавая всем, кто просил, из товарищей и подчиненных.

Милорадович был щеголь, старался, но не всегда умел, сказать острое слово, очень дорожил своей популярностью и верил в нее, был несколько театрален, любил делать благородные жесты и говорить громкие слова, как и было в упомянутом случае с Пушкиным.

В качестве Петербургского генерал-губернатора, которым он стал с 1818 г., продолжая в то же время командовать гвардейским корпусом, Милорадович проявил отсутствие деловых качеств и беспечность, соединенную с пристрастием к внешнему блеску. Он очень любил показываться с целым штабом на „народных“ гуляньях и в местах летних прогулок петербуржцев. На устрой-

ство одного из последних, Екатерингофа, он затратил огромные городские средства, с которыми обращался столь же расточительно, как и со своими собственными. Здесь давал он праздники и балы в возведенных по его приказу павильонах и беседках.

Постоянный посетитель театрального училища и театров, генерал-губернатор был внимателен преимущественно к хорошеньким актрисам, разыгрывая роль покровителя и знатока искусств. С „непокорными“ и „непочтительными“ актрисами и актерами обращался порой круто „по-военному“, отправляя под арест в театральную контору и даже в Петропавловскую крепость.

Приятеля Пушкина и Грибоедова, известного поэта, П. А. Катенина, Милорадович выслал из Петербурга за то, что тот публично выражал недовольство игрой актрисы, которой покровительствовал генерал-губернатор.

После смерти Александра I, во время междоусобия в ноябре — декабре 1825 г., Милорадович держал себя самоуверенным и хвастливым „хозяином столицы“, утверждая, что у него „60 тысяч штыков в кармане“, т. е. что он вполне располагает гвардией, на безусловное повиновение которой рассчитывал. Отречение Константина, присяга Николаю I и события 14 декабря застали генерал-губернатора врасплох. Новое царствование не сулило ему прежнего высокого положения. Уверенный в воцарении Константина, он в предшествовавшие дни держал себя с Николаем независимо и даже несколько свысока, привыкнув видеть в нем прежде всего своего подчиненного, дивизионного генерала в гвардейском корпусе. Пораженный вестью о выходе на Сенатскую площадь восставших солдат, Милорадович прискакал к их строю и безуспешно пытался убедить вернуться в казармы. После неоднократных требований возвратиться к правительственным войскам, он был смертельно ранен декабристом Каховским.

Приехав в Екатеринослав, Пушкин не успел еще оглядеться и устроиться, как заболел лихорадкой, простудившись во время купанья. В это время из Киева на Кавказские Минеральные воды проезжал через Екатеринослав генерал Николай Николаевич Раевский<sup>1</sup> с двумя дочерьми — Марией и Софией, и сыном, тоже Николаем Николаевичем.

Младший Раевский, офицер лейб-гвардии гусарского полка, подружился с Пушкиным еще в Царском Селе, где поэт был знаком и с самим знаменитым генералом. Зная, что в Екатеринославе находится его ссыльный приятель, младший Раевский, едва вылезши из дорожной коляски, бросился искать поэта. Он застал Пушкина в „гадкой избёнке, на досчатом диване, небритого, худого и бледного“, — как пишет врач, ехавший с генералом и в тот же день взявшийся за лечение больного. Узнав о положении Пушкина, генерал решил увезти его с собой на воды. Разрешение местного начальства было дано, и менее чем через месяц после своей высылки из Петербурга, поэт уже ехал с Раевскими через Новочеркасск и Ставрополь в Горячеводск (ныне Пятигорск).

Генерал-от-кавалерии Н. Н. Раевский, с которым в это время близко общался Пушкин, был одним из замечательнейших военных деятелей своего времени. Прошедший боевую школу на турецкой, польской и кавказской войнах конца XVIII в., близкий друг и соратник П. И. Багратиона, под командой которого он сражался в 1806 г. с французами, в 1808 г. со шведами и в 1810 г. с турками, Раевский особенно прославился в Отечественную войну. У дер. Салтановки он героически атаковал корпус Даву, рвавший следом за уходившей армией Багратиона, у Смоленска сдерживал авангард Наполеона, обес-

<sup>1</sup> Портрет Раевского — слева от портрета Барклая-де-Толли.

печивая соединение наших армий, а под Бородиным защищал центр русской позиции, и главный ее редут вошел в военную историю с его именем. В 1813 г. Раевский командовал гренадерским корпусом, во главе которого сражался при Бауцене, Кульме и Лейпциге, где будучи ранен пулей в грудь, остался в строю до конца сражения. В 1814 г. участвовал в ряде боев и окончил боевое поприще штурмом Парижа. После войны Раевский командовал корпусом, штаб которого стоял в Киеве.

Помимо выдающегося военного дарования и боевой опытности, Раевский, по единодушным отзывам современников, обладал высокими человеческими достоинствами — редкой скромностью, равнодушием к почестям, независимостью мыслей и суждений, серьезным образованием, гуманностью и отзывчивостью к окружающим и подчиненным.

Последние качества ярко выразились в отношениях Раевского с молодым Пушкиным. Характеризуя их, один из первых биографов великого поэта писал: „Несмотря на французское воспитание, Раевский был настоящий русский человек, любил русскую речь, по собственной охоте знаком был с нашей словесностью, знал и ценил простой народ, сближался с ним в военном быту и в своих поместьях, где, между прочим, любил заниматься садоводством и домашней медициной. В этих отношениях он далеко не походил на своих товарищей по оружию, русских знатных сановников, с которыми после случилось встречаться Пушкину и которым очень трудно было понять, что за существо поэт, да еще русский. Раевский как то особенно умел сходиться с людьми, одаренными свыше. По отношению к Пушкину генерал Раевский важен еще для нас как человек с разнообразными и славными воспоминаниями и преданиями, которыми он охотно делился в разговорах“.

Беседы такого рода, несомненно, происходили в тече-

ние всего времени, проведенного Пушкиным в кругу семьи Раевских и начались именно в первые дни пути, когда узнав, что поэт, ехавший в открытой коляске со своим приятелем, страдает от приступов лихорадки, генерал пересадил его в свою карету. В позднейших записях Пушкина под заглавием „Анекдоты“, сохранился ряд рассказов Раевского, метко характеризующих нескольких деятелей времени Екатерины II и знакомцев генерала по военному поприщу.

Приехав 11 июня в Горячеводск, где к ним присоединился лечившийся здесь старший сын Раевского, полковник Александр Николаевич, путешественники прожили здесь, а также в Железноводске и Кисловодске, около двух месяцев. Окончательно излеченный местными ваннами, Пушкин совершал прогулки по окрестностям с братьями Раевскими. Плененный величественной природой, здесь он задумал и начал писать „Кавказского пленника“.

5 августа Раевские и Пушкин выехали в Крым и через крепость Кавказскую (ныне город Кропоткин), Тамань, Керчь и Феодосию прибыли к концу месяца в Гурзуф. Ночью при переезде на корабле из Феодосии, в то время как его спутники спали, Пушкин создал свою элегию „Погасло дневное светило“.

В Гурзуфе ждала Раевских жена генерала (внучка великого Ломоносова) и две старшие дочери. Все разместились в одном предоставленном в распоряжение генерала доме. Описывая осенью брату Льву свое путешествие, Пушкин восторженно сообщал о жизни в Крыму:

„Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, почительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, чело-



Н. Н. Раевский (1771—1829)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



век без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлечет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди сам, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, — счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море; друг мой, моя любимая надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевских“.

В середине сентября, оставив в Гурзуфе жену и дочерей, генерал, вместе со своим младшим сыном и Пушкиным, выехал в обратный путь. Частью они ехали верхом и вместе посетили Георгиевский монастырь и Бахчисарай, где осматривали „в забвеньи дремлющий дворец“ крымских ханов. В конце сентября поэт прибыл в Кишинев, куда за истекшее время была переведена из Екатеринослава канцелярия его начальника, генерала Инзова.

Общение с семейством Раевских оставило значительный след в творчестве Пушкина. Николаю Николаевичу-младшему, знатоку и тонкому ценителю литературы, до последних лет жизни оставшемуся его другом, поэт посвятил „Кавказского пленника“, Александру Николаевичу, под глубоким и сложным влиянием которого он некоторое время находился, посвящены стихи „Демон“ и „Коварность“. Исследователи творчества Пушкина полагают, что несколько стихотворений, написанных в ближайшие годы после пребывания на Кавказе и в Гурзуфе, связаны с впечатлением, произведенным на него двумя старшими дочерьми генерала.

Наконец, Марии Николаевне, смуглой, черноглазой, живой и шаловливой девушке-подростку, с которой он

виделся ежедневно во все три месяца своего путешествия, Пушкин через несколько лет посвятил поэму „Полтава“. Существует предположение, что увлечение Марией Раевской было одним из наиболее серьезных в жизни поэта. С ее именем связывают не одну строфу в „Бахчисарайском фонтане“, „Цыганах“, „Онегине“ и других произведениях Пушкина. Сама Мария Николаевна рассказывает в своих записках: „Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее. Кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картинка была очень грациозна и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет:

Как я завидовал волнам,  
Бегущим резвой чередою.  
С любовью лечь к ее ногам.  
Как я желал тогда, с волнами  
Коснуться милых ног устами.

Позже, в поэме «Бахчисарайский фонтан», он сказал:

. . . . . ее очи  
Яснее дня,  
Чернее ночи.

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел“, — скромно заканчивает Раевская. Несомненно, что с Марией Николаевной Пушкин еще не раз встречался в ближайшие годы в Киеве. Но чувство поэта осталось неразделенным.

Пленившей Пушкина девушке предстоял незаурядный жизненный путь, связанный с судьбой ее мужа. В январе 1825 г. Мария Раевская вышла замуж за генерал-майора князя Сергея Григорьевича Волконского.<sup>1</sup>

Волконский был на 17 лет старше своей жены. Он начал боевую службу в 1806 г., отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, а в 1810 году в войне с Турцией выказал особенную отвагу в бою при Батине. В 1812 г. командовал конным партизанским отрядом и в следующем году за храбрость, проявленную при Калише, награжден орденом Георгия 4-й степени. Менее чем за 10 лет боевого пути он участвовал в 58 сражениях и в 1813 г. произведен за отличие в генерал-майоры. После войны Волконский служил на юге России, где с ним познакомился и сблизился Пушкин. Особенно часто они встречались весной 1824 г. в Одессе.

Волконский, командовавший в это время пехотной бригадой, был одним из руководящих деятелей Южного Тайного общества, и есть сведения, что именно ему было поручено завербовать Пушкина в число членов. Вероятно, он, как и другие будущие декабристы, не пытался этого сделать, боясь подвергнуть великого поэта опасностям, связанным с политической борьбой, а может быть понимая, что поэт своими вольнолюбивыми стихами, и не состоя в Тайном обществе, приносит огромную пользу его делу. Сохранилось только одно письмо С. Г. Волконского к Пушкину, написанное из Петербурга осенью 1824 г. в село Михайловское. В нем Волконский выражает сожаление, что ссыльный поэт подвергся „новым гонениям“ правительства, и надежду, что Пушкин изберет темой своих творений историю древних русских республик — Новгорода и Пскова. Переходя к со-

<sup>1</sup> Портрет Волконского — справа от портрета Барклая-де-Толли, наверху.

бытиям собственной жизни, Волконский сообщает, что женится на Марии Николаевне Раевской и высказывает уверенность, что „всякое доброе известие“ о нем будет приятно Пушкину. Письмо проникнуто доброжелательным, дружественным чувством.

Когда в январе 1826 года Волконский был арестован в городке Умань и отправлен в Петербург, где заключен в Петропавловскую крепость, Мария Николаевна, бывшая беременной, дождалась только рождения сына и, едва оправившись после родов, несмотря на резкое противодействие семьи, особенно брата Александра, поехала в Петербург. Здесь она добилась свидания с мужем и ожидала решения его участи, с твердым желанием разделить ее до конца. Когда Волконский был приговорен к 20 годам каторги, Мария Николаевна решила последовать за ним в Сибирь. Ей пришлось выдержать длительную борьбу и со своими близкими, которые отговаривали ее от этого шага, и с правительством, делавшим все, чтобы запугать жен декабристов, заставив их отказаться от желания ехать за мужьями. Оставив сына в семье родителей, — его не позволили взять с собой, — Мария Николаевна тронулась в дальний путь.

В Москве, проездом, она виделась с Пушкиным, который через нее хотел передать в Сибирь свое „Послание узникам“:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье.  
Не пропадет ваш скорбный труд  
И дум высокое стремленье...

Но поэт не успел доставить Волконской своего стихотворения, — торопясь к цели путешествия, она уехала в ночь после их разговора.

При этом свидании Пушкин говорил Марии Николаевне, что собирается писать книгу о Пугачеве и надеется с ней увидеться в поездке на Урал, на места действия



С. Г. Волконский (1788—1865)



знаменитого восстания. А через год, узнав о смерти маленького сына Волконских, оставленного в европейской России, поэт послал Марии Николаевне следующую эпитафию:

В сияньи, в радостном покое,  
У трона вечного отца  
С улыбкой он глядит в изгнание земное,  
Благословляет мать и молит за отца.

Образ Марии Николаевны вдохновил много позже Н. А. Некрасова на создание поэмы „Русские женщины“.

Гроза 1825 г. тяжело отозвалась на семье Раевских. Кроме С. Г. Волконского, был арестован генерал-майор М. Ф. Орлов, муж старшей из сестер Раевских — Екатерины, хоть и не приговоренный к каторге, но навсегда исключенный из службы и обреченный на жизнь под полицейским надзором. Были привлечены к следствию и арестованы оба сына генерала, правда вскоре освобожденные. Помимо этого, сослан в каторгу один из ближайших его родственников, отставной полковник В. Л. Давыдов. Наконец, добровольно уехала навсегда в Сибирь Мария Николаевна.

Н. Н. Раевский мужественно принял все эти удары судьбы, но, несомненно, тяжкие волнения 1825—1826 гг. поколебали и ранее расстроенное ранами и военными трудами его здоровье. А в следующие годы последовали еще два неожиданных удара — исключение со службы обоих его сыновей, о причинах которого мы упомянем дальше в этой книге.

Генерал Н. Н. Раевский умер 16 сентября 1829 г. на 59-м году. И в последние минуты, смотря на портрет дочери Марии, он сказал: „Это — самая удивительная женщина, которую я знал“.

Пушкин был верным другом семьи Раевских. Когда в начале 1830 г. вдова генерала обратилась к нему с просьбой походатайствовать о ее материальных делах,

он не задумываясь написал об этом шефу жандармов Бенкендорфу, хотя отношения их в этот момент были весьма натянуты, — поэту было только что отказано в разрешении отправиться путешествовать за границу.

Вот это письмо Пушкина: „Весьма не во-время хочу прибегнуть к благосклонности вашего превосходительства, но священный долг меня к тому обязывает. Я связан узами дружбы и признательности с семейством, которое ныне находится в большом несчастье: вдова генерала Раевского пишет ко мне и просит предпринять шаги в ее пользу перед теми, кто мог бы довести ее голос до престола его величества. Уже то, что она с этим обратилась ко мне, свидетельствует, до какой степени у нее мало друзей, надежд и способов. Половина семьи в ссылке, другая накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов громадного долга. Г-жа Раевская ходатайствует, чтобы полное жалованье ее мужа было обращено ей в пенсию с переходом, в случае ее смерти, к ее дочерям. Этого будет достаточно, чтобы предохранить ее от нищеты. Обращаясь к вам, генерал, надеюсь заинтересовать скорее воина, чем министра, и скорее человека с добрым сердцем, чем государственного мужа, судьбою вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блистательна, а смерть так печальна“.

Просьба Раевской была удовлетворена. Явно преувеличивая роль своего друга в этом эпизоде, П. В. Нащокин сообщал, что „Пушкин выпросил вдове Раевского пенсию: государь ей назначил 12 тысяч пенсиону“. Мало вероятно, чтобы на Николая I или Бенкендорфа подействовало красноречивое и полное благородства письмо Пушкина. Но роль Раевского в 1812 году, его место среди русских полководцев, были так значительны и почетны, что, очевидно, требовали этой пенсии, отнюдь не такой большой по сравнению с арендами, пенсиями и единовременными

подачками, постоянно дававшимися многим „верноподанным“ слугам царя.

Портрет Н. Н. Раевского, несомненно, принадлежит к числу наиболее выразительных произведений Доу, исполненных с натуры, как свидетельствует надпись в левом нижнем его углу. Энергичное, мужественное лицо, со сдвинутыми бровями и прямым, твердым взглядом, передает сильный характер героя. Простой вицмундир без шитья, звезды высших орденов, полуприкрытые походной шинелью, подчеркивают суровый облик воина и скромность Раевского.

К удачным и остро схожим с оригиналами относится и портрет С. Г. Волконского. Он написан в 1823 г., но в связи с восстанием 1825 года не был помещен в Галерею при ее открытии. Пролежав в кладовой дворца более 80 лет, портрет этот после революционных событий 1905—1906 гг. был, наконец, водворен на свое законное место, заслуженное Волконским, героическим участником славных боев Отечественной войны.

#### И. Н. ИНЗОВ

По возвращении из поездки на Кавказ и в Крым, для Пушкина начался новый, Кишиневский, период жизни, охватывающий почти три года, с сентября 1820 г. по июль 1823 г. Видную роль в нем играл непосредственный начальник поэта генерал-лейтенант Иван Никитич Инзов,<sup>1</sup> состоявший в должности попечителя колонистов юга России, а с июля 1820 г. исполнявший также обязанности наместника Бессарабии, с чем и был связан переезд его канцелярии из Екатеринослава в Кишинев.

<sup>1</sup> Портрет Инзова — на той же стене, где портреты Раевского и Волконского, но за колоннами, ближе к дверям Преддверковой, во втором ряду.

Немногие дошедшие до нас сведения о жизни И. Н. Инзова до назначения его на юг России рисуют служебный путь исправного и доблестного офицера. Начав службу 17-летним юношей, Инзов получил боевое крещение в 1789—1791 гг., во время турецкой войны, после которой несколько лет он состоял ординарцем и адъютантом фельдмаршала Репнина. В 1799 г. Инзов с честью командовал на знойных полях Италии и в снежных ущельях Альп прославившимся доблестью Апшеронским пехотным полком, не раз заслужив похвалы великого Суворова, и в 1804 г., на 20-м году службы, произведен в генерал-майоры. В 1805 г., по желанию Кутузова, Инзов был назначен дежурным генералом его армии и явился бесшменным помощником славного полководца в трудной обстановке этой кампании. Потом командовал бригадой и дивизией, участвуя в боевых действиях в Галиции и на Дунае, а с начала Отечественной войны состоял начальником штаба 3-й армии (Тормасова), прикрывавшей Киев и не принимавшей значительного участия в боевых действиях лета и осени 1812 года вплоть до разгрома французов на Березине. Зато в 1813 г. Инзов, перешедший опять в строй, участвовал в целом ряде сражений и особенно отличился при Бауцене, где со своей дивизией оказал упорное сопротивление корпусу Нея и не раз лично водил полки в штыковую атаку. Вслед затем он участвовал в трехдневной „Битве народов“ под Лейпцигом, в осаде Магдебурга и Гамбурга.

Через четыре года после окончания войны состоялось назначение Инзова в Екатеринбург, а еще через два года переехал он в Кишинев. Старый холостяк, — ему в 1820 г. было 52 года, — генерал Инзов зажил здесь, отдавая много времени обязанностям по управлению краем и посвящая досуги чтению и занятиям естественными науками, которые он очень любил. Двухэтажный каменный дом наместника, стоявший на пригорке над



**И. Н. Инзов (1768—1845)**



Кишиневом, и прилегавшие к нему большой двор и сад полны были разнообразных птиц, и в клетках и на свободе, а также всевозможных, порой редких, растений.

В этом-то доме, в двух комнатах нижнего этажа, Инзов вскоре поселил Пушкина, за которым высшее петербургское начальство поручило ему наблюдать. В столице, конечно, не думали, что этот начальник окажется до такой степени мягким, заботливым и снисходительным.

Добрый и просвещенный Инзов, в молодости близкий с московским кружком прогрессивного общественного деятеля, писателя Н. И. Новикова, являлся убежденным противником крепостного права и телесных наказаний и был проникнут искренней гуманностью и терпимостью. Как мы видели, он начал свои отношения со ссыльным поэтом с того, что, едва узнав его, отпустил на Кавказ и в Крым. По этому поводу Инзов писал начальству в Петербург: „Расстроенное его здоровье в столь молодые лета и неприятное положение, в коем он, по молодости, находится, требовали, с одной стороны, помощи, а с другой — безвредной рассеянности, а потому отпустил я его с генералом Раевским...“

Однако такое отношение не было ни в какой мере невниманием к своим обязанностям начальника, „наблюдающего“ за поэтом. Но Инзов понимал их в самом высшем, отеческом смысле, сумев с первых дней примениться к характеру одинокого юноши, оценить его прямоту и великий талант. Поселив Пушкина в своем доме, Инзов постоянно приглашал его к своему столу, вел с поэтом серьезные беседы, снабжал его книгами из своей библиотеки, наблюдал за его поведением в обществе. И делал все это со свойственной ему мягкостью и в самой деликатной форме.

Не стесненный систематическим исполнением служебных обязанностей, Пушкин в Кишиневе вел жизнь подвижную, пеструю и разнообразную. В то же время он

много и плодотворно работал. Недаром весной 1821 г. в „Послании к Чаадаеву“ поэт писал:

В уединении мой своенравный гений  
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.  
Владею днем моим; с порядком дружен ум;  
Учусь удерживать вниманье долгих дум;  
Ищу вознаградить в объятиях свободы  
Мятежной юности утраченные годы  
И в просвещении стать с веком наравне.

В Кишиневе Пушкин часто бывал у командовавшего 16-пехотной дивизией генерала М. Ф. Орлова, женатого с 1821 г. на знакомой поэту по Гурзуфу старшей дочери Н. Н. Раевского, Екатерине Николаевне. Здесь собирався кружок передовых военных, велись серьезные политические беседы, часто продолжавшиеся в более горячей и откровенной форме на квартире майора В. Ф. Раевского (однофамильца генерала Николая Николаевича), блестяще образованного, революционно настроенного офицера, с которым Пушкин находился в дружеских отношениях. Поэт много читал, беря книги у Инзова, Орлова, Раевского и других, проявлял особый интерес к вопросам общественной мысли, философии, истории и географии.

Кишиневские годы отмечены работой над „Кавказским пленником“, „Бахчисарайским фонтаном“, „Гавриилиадой“, „Братьями-разбойниками“. В Кишиневе написаны „Песнь о вещем Олеге“, „Черная шаль“, „Кинжал“ и многие другие стихотворения. Здесь начат „Евгений Онегин“ и задуманы „Цыганы“. Сидя дома, Пушкин находил еще время учиться молдаванскому языку у эконома Инзовской усадьбы, а на прогулках пытливо всматривался в жизнь окружающего населения. Но, одновременно, он с увлечением танцевал на балах молдавских „бойр“ и русских чиновников, ночи напролет играл в карты и увлекался местными красавицами.

Известен целый ряд столкновений вспыльчивого и самолюбивого поэта с представителями кишиневского общества, в нескольких случаях окончившихся дуэлями, по счастью обошедшимися без пролития крови, но показавшими замечательное бесстрашие Пушкина.

Такова была дуэль поэта с подполковником С. Н. Старовым, происшедшая в январе 1825 г. при следующих обстоятельствах. Во время бала в кишиневском „казино“ Пушкин велел оркестру играть мазурку. Вслед за ним один из офицеров крикнул, чтобы играли кадрили. Пушкин вновь повторил: „мазурку!“, и музыканты послушались его. Присутствовавший Старов решил вступить „за честь“ своего подчиненного и потребовал, чтобы поэт извинился перед ним. Пушкин отказался и получил вызов на поединок. Противники встретились на другое утро в окрестностях Кишинева во время сильной метели, мешавшей им хорошо видеть друг друга. Сделав каждый по два выстрела, они разъехались, порешив возобновить дуэль на следующее утро. Но в тот же день секунданты помирили Пушкина и Старова; при этом, по свидетельству современника, известный своей храбростью в 1812—1814 гг., подполковник сказал: „Вы, Александр Сергеевич, так же хорошо стоите под пулями, как пишете стихи“.

Иногда Инзову удавалось во-время узнать о готовящемся поединке, например с ревнивым богачом Инглези. Тогда генерал принимал решительные меры: сажал Пушкина под домашний арест, приставив к дверям его комнаты часового, и в то же время стараясь уладить возникший конфликт. То же наказание применял Инзов к поэту и в тех случаях, когда от горожан поступали жалобы на уж очень шумевшие „шалости“ его питомца. Так было, когда, едучи верхом по одной из главных улиц Кишинева и увидев в окне дома хорошенькую девушку, Пушкин, прищипав коня, въехал прямо на крыльцо и до обморока напугал приглянувшуюся ему особу. Но и в этих случаях

добряк Инзов посылал арестованному для развлечения новые журналы и сам приходил к нему побеседовать на различные интересовавшие их обоих темы, вплоть до революционных событий в Испании 1820—1822 годов.

Благодаря Инзову, во все время службы в его канцелярии, Пушкин широко пользовался правом отлучек из Кишинева. То он кочевал где-то с цыганским табором, то уезжал к Раевским в Киев, то целый месяц жил в Одессе, и, наконец, дважды подолгу гостил в имении Каменка, принадлежавшем братьям Давыдовым, близким родственникам Раевских и Д. В. Давыдова, где собирались члены Южного Тайного общества и время делилось, по словам поэта, между „аристократическими обедами и демократическими спорами“. И когда во время одного из этих пребываний в Каменке Инзов получил письмо отставного генерала А. Л. Давыдова с извещением, что Пушкин заболел и потому не может к сроку возвратиться в Кишинев, он ответил следующим письмом: „До сего времени я был в опасении о г-не Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелями, не отправился в путь и где-нибудь, при неудобствах степных дорог, не получил несчастья. Но, получив почтеннейшее письмо ваше от 15 сего месяца, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволите ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах“.

Весной 1821 года граф Каподистрия, по приказу Александра I, запросил Инзова о поведении Пушкина. 28 апреля генерал отвечал секретным письмом, в котором читаем: „Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Инзов имел в виду восстание, поднятое против турок Александром Ипсиланти, разыгрывавшееся близко от Кишинева и возбуждавшее всеобщее внимание в России и за границей. Конечно, и Пушкин живо им интересовался, сочувствуя восставшим грекам.

не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных на французском молдавских законов, и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности... В бытность его в столице он пользовался от казны 700 рублей в год; но теперь не получает сего содержания и, не имея пособия от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании терпит, однако же, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии. Посему я долгом считаю покорнейше просить распоряжения вашего о назначении ему отпуска здесь того же жалованья, какое он получал в С.-Петербурге". Как видим, помимо самых благоприятных отзывов о поведении ссыльного поэта, Инзов ходатайствовал еще о его материальных делах. И ходатайствовал успешно, — просимое им жалованье выплачивалось с этого времени Пушкину вплоть до высылки его из Одессы в село Михайловское. Отметим, что положительные отзывы о поведении поэта генерал давал правительству не один раз.

Пушкин отвечал Инзову глубоким уважением и любовью. За глаза он часто ласкательно называл своего начальника: „Мой Инзушко“. Один из знакомцев поэта, наблюдавший его жизнь в Кишиневе и Одессе в 1823—1824 гг. пишет: „Иван Никитич привязал к себе Пушкина, снискал доверенность его и ни разу не раздражал его самолюбия. Впоследствии Пушкин, переселясь в Одессу, при каждом случае говорил об Иване Никитиче с чувством сыновнего умиления. Этому я сам был свидетель“.

В „Воображаемом разговоре с Александром I“ Пушкин в следующих выражениях противопоставлял Инзова графу Воронцову, под начальство которого он попал в Одессе: „Генерал Инзов добрый и почтенный, он русский в душе; он не предпочтет первого английского шалопаю всем известным и неизвестным своим соотечественникам... Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет

чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив“.

В 1823 г. Пушкин был переведен в Одессу. Он сам хотел перевода и хлопотал о нем через своих столичных друзей. Ему было душно в надоевшем, захоластном Кишиневе; казалось, что богатая приморская Одесса, с ее пестрым населением, оперным театром и новыми знакомствами, даст богатую пищу для наблюдений и станет местом нового творческого подъема. При этом Пушкин надеялся, что пребывание в Одессе будет шагом к столь желанному возвращению из ссылки. Особенно опостылел ему Кишинев после ареста майора В. Ф. Раевского, обвиненного в революционной агитации среди солдат, и отъезда генерала М. Ф. Орлова, отстраненного от должности в связи с этим делом.

Не мешая поэту поступать сообразно его желанию, Инзов, оставшись в Кишиневе, скучал и беспокоился о его судьбе. Чиновник Вигель, часто видевший генерала в это время, писал в своих записках: „Нередко, разговаривая со мной, вздыхал он о Пушкине, любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сношения их сделались столь же странными, сколько трогательными и забавными. С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя жительство, поил, кормил, оказывал ласки, и так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемых ему одолжений, как Пушкин... Его веселый, острый ум оживлял, освещал пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутлив, никогда дерзок; а тот готов был ему все простить... Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин

отзывался о нем. — «Зачем он меня оставил?» — говорил мне Инзов. — «Конечно иногда в Кишиневе бывало ему скучно, но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям по Кавказу, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода. Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней сколько угодно. А с Воронцовым, право, не сдобровать ему»<sup>1</sup>.

Близко узнавший великого поэта и полюбивший его Инзов верно предвидел будущее. Впрочем, можно предположить, что в годы долгой военной службы, не раз встречаясь с графом Воронцовым, он составил о его характере определенное, трезвое представление.

Портрет И. Н. Инзова, по всей вероятности, относится к числу заочно исполненных в мастерской Доу; мы не располагаем сведениями, чтобы генерал отлучался с юга России в период создания Галереи, в 1819—1828 гг. Но и на этом, написанном с какого-то нам неизвестного изображения, портрете лицо Инзова носит печать спокойствия, ума и доброты, проявленных им в отношениях с Пушкиным.

#### И. В. САБАНЕЕВ

В Кишиневе Пушкин не раз встречался с генерал-лейтенантом Иваном Васильевичем Сабанеевым,<sup>1</sup> командиром 6-го пехотного корпуса, в состав которого входила пехотная дивизия генерал-майора М. Ф. Орлова. Бывая в Кишиневе, Сабанеев обязательно посещал Инзова как старшего из местных военных чинов, управляющего краем и, к тому же, знакомого ему по прошлой боевой службе. Во время одного из таких посещений, 5 февраля 1822 г., Пушкин, находясь в соседней комнате, услышал, как

<sup>1</sup> Портрет Сабанеева — направо от портрета Инзова, в нижнем ряду.

Сабанеев говорил Инзову о предположенном назавтра аресте майора В. Ф. Раевского, обвинявшегося в революционной пропаганде среди солдат и в принадлежности к тайному политическому обществу „Союз благоденствия“. Инзов горячо отстаивал невиновность Раевского. Убедившись, что Сабанеев имеет предписание об аресте его друга, Пушкин побежал к Раевскому и предупредил его о грозящей опасности. Благодаря этому майор поспешил уничтожить компрометировавшие его и других членов общества бумаги, что, впрочем, не помешало после ареста продержать его в заключении более 5 лет и затем сослать в Сибирь.

Следующая известная нам встреча Пушкина с Сабанеевым относится к январю 1824 г., когда поэт, уже из Одессы, ездил для исторических разысканий в Бендеры и Каушаны. Находясь проездом в Тирасполе, где квартировал штаб 6-го корпуса, Пушкин был приглашен обедать к Сабанееву. По свидетельству его спутника, поэт был остроумен и разговорчив, очень понравился хлебосольной жене генерала и сам нашел занимательной беседу хозяина. Среди потомков Сабанеева сохранилось предание, что от него Пушкин услышал рассказ автобиографического характера, послуживший позже сюжетом для повести „Метель“.

Несомненно, Пушкин многократно видел генерала Сабанеева и в Одессе, куда тот часто приезжал по служебным делам. Так, ранней весной 1824 года, оба они были на маскарade у генерал-губернатора. Уступая просьбам Воронцовых, Сабанеев согласился участвовать в этом увеселении, придумав себе весьма оригинальный костюм. Он облекся в статскую одежду и нацепил на фрак все многочисленные имевшиеся у него иностранные ордена, не надев при этом ни одного русского. Находя такое превращение иностранных орденов в принадлежность маскарадного костюма остроумной насмешкой над характерным



И. В. Сабанеев (1772—1829)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



для русского высшего общества преклонением перед всем чужеземным, Пушкин был в восторге от выходки Сабанеева. Особенно резко она отличалась от ненавистой поэту „англomanии“ Воронцова.

И. В. Сабанеев принадлежал к числу наиболее видных боевых генералов своего времени. Окончив Московский университет, он 19-летним юношей начал службу в турецкую войну 1790—1791 года, во время которой отличился храбростью и был отмечен Кутузовым. В Суворовском походе 1799 года Сабанеев неизменно командовал передовыми цепями одной из колонн, был дважды ранен в боях при Чортовом мосте и Муттентале, среди тяжело раненых оставлен в Гларисе и взят в плен французами. Выздоровев, Сабанеев возвратился в Россию, привезя проект нового обучения пехоты рассыпному строю, разработанный им на основании опыта последней войны. Проект оказался так хорош и нужен, что вскоре был принят во всей русской армии. Слабость здоровья, в результате ранений, заставила Сабанеева выйти в отставку, но не надолго. В 1805—1807 гг., командуя полком в авангарде Багратиона, он вновь зарекомендовал себя бесстрашным и предприимчивым офицером, а в одной из рукопашных стычек был снова ранен (на этот раз штыком в лицо). Участвуя в войне со шведами, Сабанеев находился в составе отряда, перешедшего по льду Ботнический залив, был еще раз ранен и явился ведущим участником ряда удачных боев, за что был награжден чином генерал-майора и орденом Георгия 3-й степени. В 1810—1811 гг. он с отличием участвовал в турецкой войне и особенно прославился в сражении при Батине, командуя левым крылом русской армии, войсками которого искусно обошел врага и ударил ему в тыл. Блестящие действия Сабанеева при Рушуке и Слабодзее отмечены особыми похвалами Кутузова. При заключении Бухарестского мира он состоял вторым русским уполномоченным. В войну 1812—1814 гг. был начальником штаба

армии Чичагова и, позже, Барклая-де-Толли, высоко его ценивших.

Сабанеев отличался гуманностью по отношению к солдатам и исключительной честностью. По фигуре и движениям, маленький, сухой, чрезвычайно живой и деятельный Сабанеев, как пишут современники, несколько напоминал великого Суворова, перед памятью которого благоговел.

#### А. Ф. ЛАНЖЕРОН

Вероятно, еще весной 1821 г., приехав на месяц в Одессу из Кишинева, Пушкин познакомился с Херсонским военным губернатором и Одесским градоначальником, генералом-от-инфантерии, графом Александром Федоровичем Ланжероном,<sup>1</sup> болтливым и общительным 60-летним французом.

Начав службу в королевских французских войсках, 19-летний Ланжерон принял участие в войне за освобождение Северной Америки от владычества Англии и проявил выдающуюся храбрость в сражениях с англичанами. Возвратясь во Францию и эмигрировав во время революции, он поступил в русскую армию, с которой участвовал почти во всех войнах с 1790 по 1814 г. против шведов, турок и французов. Храбрый генерал и ловкий царедворец, пользовавшийся милостями Екатерины II, Павла и Александра I, Ланжерон в 1811 г. был произведен в генералы-от-инфантерии и в Отечественную войну командовал корпусом. В течение своей долгой военной карьеры Ланжерон, наряду с неудачами, — при Аустерлице его колонна была почти уничтожена, — не раз выказывал недюжинное военное дарование и достигал значительных успехов. Так, в 1811 году, временно, перед назначением Кутузова, командуя Дунайской армией,

<sup>1</sup> Портрет Ланжерона — направо от портрета Сабанеева.

он взял крепость Рушук и был ближайшим помощником великого полководца в операциях по блокаде и пленению турецкой армии, а в 1813 году, под Лейпцигом, корпус Ланжерона, единственный из всех союзных войск, прорвал фронт армии Наполеона и заставил противника начать отступление. За взятие в 1814 году штурмом господствующих над Парижем Монмартрских высот он получил высший русский орден Андрея Первозванного.

В 1815 году Ланжерон был назначен в Новороссию в качестве преемника своего земляка и друга, герцога Ришелье, навсегда уехавшего во Францию. Проведший всю жизнь на войне, Ланжерон не имел ни малейшего представления о ходе гражданских дел по управлению и устройству подчиненного ему края, но со свойственным ему легкомыслием нимало этим не смущался и даже не пытался вникнуть в окружающее. Один из современников и свидетелей его деятельности характеризует ее так: „С тех пор как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видано не было... Он создан был, чтобы находиться посланником при каком-нибудь немецком или итальянском дворе или управлять где-нибудь придворным театром... Нашли, что он не годится командовать корпусом, и дали ему в управление целый край... Как шли при нем дела, этого не нужно уж спрашивать“. По словам другого очевидца последних лет деятельности Ланжерона в Новороссии, его „едва терпели на месте, где он не принес ни малейшего блага и где, потеряв всякое значение, сделался игрушкой в руках всех, кому выгодно было им вертеть“.

Граф Ланжерон был известен как увлекательный собеседник и остро слов. Однажды после боя он сказал храброму, но не проявившему должной предприимчивости полковнику: „Вы пороху не боитесь, но вы его и не

выдумаете“. Будучи исключительно хладнокровен и распорядителен в сражениях, Ланжерон как в делах управления краем, так и в домашнем быту был донельзя забывчив, бездеятелен и анекдотически рассеян. Рассказывали, что, принимая Александра I в своем доме и предоставив царю для занятий свой кабинет, он откланялся и, уходя, по привычке, запер дверь на ключ, а сам ушел на далекую прогулку, унеся ключ в кармане. Привыкнув громко беседовать со своей любимой собакой, Ланжерон часто высказывал ей самые сокровенные мысли и замечания по поводу окружающих, забывая о присутствии лиц, которым отнюдь не следовало знать сказанного.

Частые встречи Пушкина с Ланжероном относятся к 1823—1824 гг., когда поэт переехал в Одессу. В это время Ланжерон уже не играл в крае никакой роли, будучи заменен Воронцовым, но продолжал жить в Одессе. Обиженный на царя за свою отставку, Ланжерон не скрывал своих чувств перед Пушкиным и, показывая дружеские письма Александра, написанные еще в царствование Павла I, жаловался поэту на несправедливость.

Еще в молодости, связанный с литературными кружками Парижа, сочинив и напечатав там комедию, Ланжерон, оказавшийся не у дел в Одессе, вновь принялся писать пьесы, которые отдавал на суд опальному поэту. „Однажды, — рассказывает свидетель их отношений, — сработав трагедию, Ланжерон дал ее Пушкину, чтобы он прочитал и сказал ему свое мнение. Александр Сергеевич продержал тетрадь несколько дней и, как нелюбитель галиматии, не читал ее. Через несколько времени при встрече с поэтом, граф спросил: «Какова моя трагедия?» — Пушкин был в большом затруднении и старался отделаться общими выражениями; но Ланжерон входил в подробности, требуя особенно сказать мнение о двух главных героях



А. Ф. Ланжерон (1763—1831)



драмы. Поэт разными изворотами заставил генерала называть по имени героев и наугад отвечал, что такой-то ему больше нравится. — «Так, — воскликнул восхищенный генерал, — я узнаю в тебе республиканца; я предчувствовал, что этот герой тебе более по душе»“.

В те же месяцы Пушкин вел с Ланжероном разговоры о политических событиях ближайшего времени, например о восстании греков, на что есть указание в письме поэта к Вяземскому от 14 апреля 1823 г.

Командуя русскими войсками в 16 кампаниях, Ланжерон так и не научился как следует говорить по-русски. В своей деловой переписке, желая сообщить указ Екатерины II, по которому владельцы соляных разработок могли продавать соль кому-угодно и за сколько угодно, он писал: „Владельцов земли, указуйт Эмператрис Экатерин, продоит своим соли по вольным цена“. Эту смешную особенность, так же как привычку вмешивать во французскую речь русские слова, знал за Ланжероном Пушкин. В одном из писем к Е. М. Хитрово поэт приводит выражение Ланжерона — *des boumagui* (бумаги). Прожив почти всю жизнь в России, Ланжерон не стал русским человеком не только по языку. Будучи профессиональным военным и храбро сражаясь под русскими знаменами, он вне войны, не интересовался жизнью приютившей его страны, не знал и не понимал ее.

Весной 1824 г. Ланжерон уехал во Францию, но, утратив всякие связи с родиной, не остался там и возвратился в Россию. В июне 1826 г. Николай I назначил его членом суда над декабристами, но сколько-нибудь заметной роли в нем Ланжерон не играл. В 1828—1829 гг. он принял участие в турецкой войне, после которой окончательно вышел в отставку. В 1831 г. Ланжерон приехал в Петербург, где, вероятно, вновь встречался с Пушкиным. 4 июля 1831 г. он умер от холеры, 68 лет.

Ланжерон оставил записки о войнах, в которых участвовал, представляющие значительный интерес и живо рисующие личность автора, полного едкой критики современников, но не щадившего порой и себя.

Написанный с натуры портрет А. Ф. Ланжерона прекрасно передает его типичную французскую наружность и щеголеватость придворного любезника, прославленного остроуслова светских салонов.

#### И. О. ВИТТ

В Одессе же поэт встречался и с генерал-лейтенантом графом Иваном Осиповичем Виттом,<sup>1</sup> начальником военных поселений кавалерии в Новороссийском крае.

С именем Витта связана относящаяся к весне и лету 1824 г. попытка Пушкина и его друзей Вяземских устроить на службу в Одессу близкого товарища поэта по Лицею, также поэта и будущего декабриста, В. К. Кюхельбекера. В это время Кюхельбекер, испытавший уже неудачу на нескольких служебных поприщах, жил в Москве, сильно нуждался, давал уроки и подготовлял к изданию альманаха „Мнемозина“, в котором Пушкин предполагал напечатать поэму „Братья-разбойники“. Вместе с приехавшей на лето в Одессу В. Ф. Вяземской, Пушкин хлопотал об устройстве Кюхельбекера на службу в канцелярию генерал-губернатора Воронцова, потом к Одесскому градоначальнику Гурьеву, и наконец, к Витту. Для представления последнему поэт взялся составить особую записку о Кюхельбекере. Повидимому, дело казалось уже совершенно решенным, так как в своем последнем письме Вяземскому из Одессы, от 15 июля, Пушкин писал: „Кюхельбекер едет сюда — жду его с нетерпением“. Однако, дело почему-то расстроилось. Может

<sup>1</sup> Портрет Витта — над портретом Ланжерона.



И. О. В и т т (1781—1840)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



быть из-за неладов Пушкина с Воронцовым и скорого отъезда поэта из Одессы, а может быть здесь сказано отмеченное одним из лиц, хорошо знавших Витта, правило последнего: „ни в чем не отказывать, но никогда не сдерживать обещанного“.

Граф И. О. Витт принадлежал к числу генералов, наименее популярных в обществе и в военной среде. Полуполяк-полугрек, он начал службу в русских войсках, но в 1809—1811 гг. находился волонтером в армии Наполеона. Летом 1812 г. Витту было поручено сформировать казачью дивизию, с которой он принял участие в военных действиях, не выказав, по показаниям очевидцев, ни военного дарования, ни храбрости. Особенное значение Витт приобрел с 1818 г., когда был поставлен во главе создававшихся на юге России военных поселений кавалерии, выказав в выполнении этого любимого начинания Александра рвение, быстроту и жестокость к солдатам и казакам. Он прекрасно умел ладить со своим прямым начальником Аракчеевым, по представлению которого был произведен в генерал-лейтенанты. Именно к этому времени относится замечание одного из боевых генералов, говорившего Д. В. Давыдову: „Нам нужна война, мой любезный Денис! В мирное время, посмотрите, и Витт становится «колоссальным»“.

В 1824—1825 гг. Витт вел слежку за членами Южного Тайного общества, провокационно действуя сам или через своего доверенного агента, Бошняка. Доносил Александру I о составе общества и его целях. Именно по ложному доносу Витта в конце 1825 г. были арестованы сыновья героя 1812 года, А. Н. и Н. Н. Раевские, освобожденные через месяц, как непричастные к делу.

Летом 1826 г., по приказу Витта, в Псковскую губернию был командирован тот же Бошняк с заданием выяснить поведение Пушкина, подозреваемого во „вредной“

агитации среди местного населения. С Бошняком ехал и фельдъегерь для препровождения поэта, после предполагавшегося ареста, в столицу. Однако отзывы окрестных крестьян, содержателей постоянных дворов и других лиц оказались в пользу поэта, и Бошняк уехал ни с чем.

Позже, осыпанный милостями Николая I, Витт был произведен в генералы-от-кавалерии, награжден высшими орденами и назначен инспектором всей резервной конницы.

Прямодушный П. И. Багратион называл Витта „лжецом и двуличкой“, а один из чиновников, наблюдавших его в Одессе, пишет, что „всякого рода интриги были стихией этого человека“.

Возможно, что Витта Пушкин встречал и в 30-х годах в Петербурге, в частности в Зимнем дворце, где бывал, приезжая в столицу, этот видный военный сановник николаевской России.

#### М. С. ВОРОНЦОВ

Когда весной 1823 г. в Петербурге стало известно о назначении графа Михаила Семеновича Воронцова<sup>1</sup> новороссийским генерал-губернатором и бессарабским наместником, друзья Пушкина начали хлопотать о переводе его в Одессу. Помимо того, что сам поэт рвался из опостылевшего ему Кишинева, всем заботившимся о его судьбе казалось, что Воронцов—именно тот начальник, который облегчит положение ссыльного поэта и, может быть, через некоторое время исходатайствует ему разрешение вернуться в столицу. В Петербургских чиновничье-дворянских кругах у Воронцова была репутация человека хорошо образованного и либерального, созданная его прежней служебной деятельностью.

<sup>1</sup> Портрет Воронцова — налево от портрета Витта, в нижнем ряду.

Сын дипломата, долголетнего русского посла в Лондоне, граф М. С. Воронцов был воспитан в Англии, но 19 лет вступил в военную службу и вскоре начал боевую деятельность на Кавказе, где за храбрость получил орден Георгия 4-й степени, вынеся из-под ружейного огня раненого товарища. В 1805—1807 гг. Воронцов сражался с французами, в 1809—1811 гг. — с турками, и отличился под Рущуком, что было отмечено Кутузовым, ходатайствовавшим о награждении его орденом Георгия 3-й степени. С началом Отечественной войны Воронцов получил в командование гренадерскую дивизию, во главе которой бился под Дашковкой и под Смоленском.

В Бородинском сражении он оборонял левый фланг русской позиции, Багратионовы флеши, с таким упорством, что к полудню из 4.000 grenадер его дивизии в строю осталось 400 человек, большинство офицеров было также перебито и сам Воронцов серьезно ранен в рукопашной схватке. Привезенный в Москву, Воронцов нашел большое количество крестьянских подвод, нагруженных имуществом своих московских домов, подготовленным к вывозу, но приказал оставить все в городе, а нагружать раненых и увозить их в его имение во Владимирской губернии.

Здесь с этого времени 300 солдат и 50 офицеров во все время войны жили и лечились за счет хозяина. Участвуя в различных боях последующих кампаний, Воронцов особенно отличился в 1814 г. в сражении при Краоне, когда в течение целого дня выдерживал натиск превосходных сил французов, руководимых самим Наполеоном. В этот день, служа примером редкого хладнокровия, Воронцов лично командовал огнем пехоты и артиллерии, бивших с самой близкой дистанции, в 200—400 шагов, по наступавшему врагу. За этот бой он был награжден орденом Георгия 2-й степени.

После окончания войны 32-летний генерал-лейтенант

Воронцов получил в командование русский корпус, оставшийся во Франции в составе оккупационных союзных войск. Главным образом в это время он и приобрел репутацию гуманного и либерального генерала, вводя исключительную для своего времени мягкость в обращении с солдатами, которых особым приказом запретил бить на учениях, устроил для них школы грамоты и т. д. Это вызвало неудовольствие Александра I, и по возвращении в Россию корпус Воронцова был признан „распущенным“, части его были поручены особо строгим генералам с приказом „подтянуть“ их, а сам Воронцов два года пробыл без назначения, только в 1820 году получив в командование 3-й пехотный корпус. Уже на высоком посту Новороссийского генерал-губернатора он два раза был обойден производством в генералы-от-инфантерии, чем Александр выказал ему свое давнее неудовольствие.

Непосредственные переговоры с графом Нессельроде, от которого зависел перевод Пушкина в Одессу, вел А. И. Тургенев, доверенный друг семьи поэта и его самого. По странному стечению обстоятельств, Тургеневу довелось сыграть видную роль в ряде важных эпизодов судьбы Пушкина. В 1811 г. он отвозил мальчика в Лицей, в 1823 г. хлопотал о переводе опального поэта в Одессу и в 1837 г. сопровождал прах Пушкина в Святогорский монастырь.

9 мая 1823 г. Тургенев писал Вяземскому, сообщая о назначении Воронцова: „Не знаю еще, отойдет ли к нему и *бес арабский*“.<sup>1</sup> Кажется он прикомандирован был к лицу Инзова“. 31 мая Вяземский спрашивает Тургенева: „Говорили ли вы Воронцову о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похло-

<sup>1</sup> Игрый слов А. И. Тургенев намекал на прадеда Пушкина, Ганвибала, „арапа Петра Великого“.



**М. С. Воронцов (1782—1856)**



почите, добрые люди. Тем более, что Пушкин точно хочет остепениться, а скука и досада — плохие советчики“. 3 июня Вяземский вновь спрашивал о том же, и 15 июня Тургенев сообщил: „О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или Инзова? Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано — сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет налад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть: за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся“.

И поначалу все шло превосходно. Приехав в Одессу в начале июля, Пушкин с головой окунулся в столь непохожую на захолустный Кишинев, кипучую жизнь большого приморского города, с многолюдным военным и чиновничьим обществом, кружком образованных коммерсантов, с пестрой разноязычной толпой, оперой и ресторациями, — со всем, чего он так долго был лишен. Радовало поэта и море, которое он так любил и которое теперь было всегда у него перед глазами.

Первая встреча с Воронцовым прошла вполне благополучно. В письме брату Льву от 25 августа, рассказав о первых одесских впечатлениях, поэт писал: „Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе...“ Но в том же письме, обрисовав свое трудное материальное положение и прося подействовать на отца, который ему ничего не посылает, Пушкин добавлял: „На хлебах у Воронцова я не стану жить, — не хочу и полно, — крайность может довести до крайности...“ Очевидно, уже в это время поэт чувствовал резкую разницу между холодным, чопор-

ным Воронцовым и отечески простым, добрым, заботливым Инзовым.

В течение следующих месяцев Пушкин вращался в одесском обществе, часто бывая во дворце Воронцова или в кругу лиц из ближайшего окружения графа. В числе последних находился давний приятель поэта А. Н. Раевский, состоявший „для поручений“ при генерал-губернаторе. Именно к этому периоду относится создание посвященного Раевскому стихотворения „Демон“, обрисовывающего характер его влияния на Пушкина.

Трудно сказать, когда именно начали изменяться к худшему отношения поэта с Воронцовым. Повидимому, это происходило постепенно, но неуклонно в течение целого года. Основной причиной была полная независимость, с которой держался Пушкин, выражавшаяся прежде всего в отсутствии того внешне сдержанного, но безусловного преклонения перед личностью и положением графа, которым были проникнуты все, служившие при генерал-губернаторе.

Воронцов, во время Отечественной войны выказавший себя доблестным патриотом, через десять лет, в Одессе, является нам совсем в ином свете. Теперь — это только царский наместник, управляющий обширной областью, не сумевший в своих отношениях к Пушкину подняться выше уровня среднего царского сановника. Генерал-губернатора раздражали едкие эпиграммы на близких ему чиновников и одесское общество, часто рождавшиеся у поэта в виде блестящих экспромтов, но тотчас запоминаемые окружающими и докладываемые графу его клеветами. Вельможа-Воронцов рассматривал Пушкина только как прикомандированного к его канцелярии „неудобного“, слишком острого и независимого чиновника, находившегося, к тому же, на очень дурном счету у правительства за известное всем свободомыслие. Сам Пушкин летом 1824 г. в одном из писем так определил отношение

к нему генерал-губернатора: „Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаться, думал о себе что-то другое“.

Поэтический талант не возвышал Пушкина в глазах аристократа Воронцова, а скорее, наоборот, принижал его. Однако генерал-губернатор мог бы пожалуй предложить покровительство этому „коллежскому секретарю“, при условии, что он будет податлив и почтителен, станет „его поэтом“. Но именно такого покровительства, чуть презрительного меценатства, и не желал Пушкин. Он не хотел и не мог воспевать личность Воронцова и его таланты, но требовал к себе должного уважения и как человек, и как поэт. Излагая эту точку зрения, Пушкин писал Вяземскому в июне 1824 г., отвечая на пожелание друга создать журнал, в котором они могли бы сплотить своих единомышленников, и, псевдиму, на запрос о возможности создать такой журнал в Одессе, куда Вяземский собирался приехать: „На Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он, а меценатство вышло из моды, — никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи. Это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно независима“.

В те же дни, в письме к правителю графской канцелярии, Казначееву, искренно расположенному к поэту, Пушкин, с трудом сдерживая накипевшее раздражение, писал: „Вы говорите о покровительстве и дружбе — двух вещах, по моему мнению несовместимых. Я не могу, да и не хочу претендовать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство. Ничто, сколько я знаю, не принижает более, чем покровительство, и я слишком уважаю этого человека, чтобы пожелать унижаться перед ним... Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что ко мне в моем отечестве относятся

с меньшим уважением, чем к первому попавшемуся мальчишке...“

Но существовала и другая причина взаимного нерасположения Пушкина и Воронцова. Она заключалась в отношениях поэта к жене генерал-губернатора, Елизавете Ксаверьевне (рожд. графине Браницкой). Ей посвящены стихи: „Сожженное письмо“, „Талисман“, „Ангел“ и „В последний раз твой образ милый“. Некоторые черты Воронцовой поэт придал Татьяне Лариной. Сведениями о ней живо интересовался он в годы, последовавшие за жизнью в Одессе. Воронцова подарила Пушкину перстень с восточной надписью, с которым он никогда не расставался (после смерти Пушкина он принадлежал В. А. Жуковскому и И. С. Тургеневу).<sup>1</sup> Есть сведения, что Воронцова была готова содействовать Пушкину в задуманном им бегстве из Одессы. Наконец, она писала ссыльному поэту в село Михайловское, но эти письма не дошли до нас.

Наружность Воронцовой и то впечатление, которое она производила, описывает в следующих словах постоянно видевший ее в Одессе чиновник: „Ей было уже за 30 лет, а она имела все право казаться молоденькою. Долго, когда другим мог бы надоесть свет, жила она девочкой при строгой матери в деревне; во время первого путешествия за границу вышла она за Воронцова, и все удовольствия жизни разом предстали ей и окружили ее. Со врожденным легкомыслием и кокетством желала она нравиться и никто лучше ее в том не успевал. Молода она была душой, молода и наружностью. В ней не было того, что называется красотой; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видел, казалось, так и призывает поцелуй“.

<sup>1</sup> Этот перстень хорошо виден на портрете А. С. Пушкина, работы В. А. Тропинина.

Портрет Воронцовой 1832 г., исполненный Хайтером, выставлен в залах английской живописи Эрмитажа. На нем графиня изображена в малиновом берете, столь тесно связанном с обликом Татьяны Лариной.

О подлинном характере отношений Воронцовой к Пушкину судить очень трудно. Существуют веские основания думать, что графиня отдавала свое расположение не поэту, а его другу, А. Н. Раевскому, уже давно в нее влюбленному, и что Пушкин был для этой четы как бы ширмой, отвлекавшей подозрения ревнивого Воронцова. Косвенным указанием, что Пушкину стала известна роль Раевского, служит стихотворение „Коварность“.

Между тем, резкие высказывания поэта по адресу правительства и царя становились известны Воронцову и доходили различными путями до Петербурга, подготавливая новую ссылку Пушкина. В марте 1824 г. Вяземский писал своему другу: „Сделай милость, будь осторожен на язык и перо. Не играй своим будущим. В случае какой-нибудь непогоды, Воронцов не отстоит тебя и не защитит...“ При этом Вяземский, конечно, не знал о всех оттенках отношений поэта с генерал-губернатором и того, что Воронцов уже не раз представлял в Петербург о переводе Пушкина из Одессы, мотивируя эту меру дурным влиянием на поэта окружающей среды и маскируя свое личное отрицательное к нему отношение заверениями о пользе такого перевода для его таланта.

Но предостерегать Пушкина было поздно. Именно в середине марта он отправил в Москву неосторожное письмо, в котором сообщал, что берет у одного из одесских знакомых „уроки чистого афеизма“ и насмешливо отзывался о догматах христианства. Это письмо, полное остроумной насмешки над религией, было легкомысленно оглашено петербургскими приятелями поэта и послужило в скором времени при решении его судьбы крайне важным материалом для обвинения.

А в конце мая в Одессе разыгралась известная история с посылкой Пушкина на борьбу с опустошавшей Новороссию саранчой, явившаяся актом своеобразной мести Воронцова. Вот как, в общем верно, рассказывает об этом один из свидетелей, уже упомянутый нами Вигель: „Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне и сказал, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем ходатайствовал об отменении приговора. Я также заикнулся на этот счет: куда там! Он [т. е. Воронцов] побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезнейший Филипп Филиппович, если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятных отношениях, никогда не упоминайте об этом мерзавце», а через минуту прибавил: так же и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок“.

Получив приказание отправиться в командировку, Пушкин письменно обратился к Казначееву, прося освободить его от поездки, ссылаясь на неспособность к службе и нездоровье. Однако после личного объяснения с Воронцовым и по совету А. Н. Раевского все же поехал. Но возвратясь, написал Воронцову резкое письмо, по некоторым сведениям продиктованное тем же Раевским, требуя немедленной отставки. Поэту дано было знать, что отставка зависит от министра иностранных дел Нессельроде, в подчинении которому он продолжал числиться. А между тем, Воронцов писал в Петербург, уже прямо требуя удаления Пушкина из

Одессы, как человека беспокойного и „неблагонамеренного“. Мы знаем, что почва для приговора была подготовлена и неосторожностью поэта, и более ранними представлениями генерал-губернатора.

Очень возможно, что Воронцову была в это время уже известна эпиграмма Пушкина, основанная на случае, происшедшем в октябре 1823 года. Во время царского смотра в Тульчине, когда Александр I сообщил собравшимся на обед генералам об аресте вождя испанской революции Риэго, позже казненного, и все встретили эту весть молча, один Воронцов воскликнул: „Какое счастливое известие, государь!“

Пушкин описал это так:

Сказали раз царю, что наконец  
Мятежный вождь Риэго был удушен.  
„Я очень рад, — сказал усердный льстец: —  
От одного мерзавца мир избавлен“.  
Все смолкнули, все потупили взор,  
Всех рассмешил проворный приговор.  
Риэго был пред Фердинандом грешен,  
Согласен я, но он за то повешен.  
Пристойно-ли, скажите, сгоряча  
Ругаться нам над жертвой палача?  
Сам государь такого добродетства  
Не захотел улыбкой наградить.  
Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить  
И в подлости осанку благородства.

Сообщая 14 июля А. И. Тургеневу о последних событиях своей жизни, Пушкин писал: „Вы уже узнали, думаю, о просьбе моей в отставку; с нетерпением ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно-ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мной с непристойным неуваженьем, я мог бы дожидаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист“.

В это время Пушкин еще надеялся, что его отпустят в отставку и, получив свободу, он сможет уехать, куда захочет. Поэт не знал, что 8 июля уже состоялось решение его участи. По докладу Нессельроде, получившего последнее письмо Воронцова, Александр приказал исключить Пушкина из службы и сослать в Псковскую деревню его отца, под надзор полиции.

30-го июля Пушкин выехал из Одессы, дав градоначальнику подписку, что обязуется ехать вплоть до Пскова по указанному маршруту. Очевидно, в последние дни пребывания в Одессе, когда негодование против Воронцова достигло высшей точки, поэт заклеил графа известной эпиграммой:

Полу-милорд, полу-купец,  
Полу-мудрец, полу-невежда,  
Полу-подлец..., но есть надежда,  
Что полвний будет наконец.

Воронцов долго злобился на Пушкина. Когда уже в апреле следующего, 1825 года В. Ф. Вяземская просила графа о приеме на службу одного из своих знакомых, Воронцов, зная дружбу Вяземских с великим поэтом, прежде всего осведомился, не связан ли как-нибудь рекомендуемый ему человек с Пушкиным.

Добавим еще, что и с А. Н. Раевским Воронцов разделался примерно тем же методом, как с Пушкиным. Летом 1828 года, желая прекратить продолжавшееся увлечение Раевского графиней, принявшее, повидимому, скандальный характер, генерал-губернатор сообщил в Петербург, что Раевский дурно отзывался о правительстве и злобно критикует ведение военных операций шедшей в это время турецкой войны. Результатом был приказ выслать Раевского из Одессы в Полтаву к отцу, под надзор полиции, с запрещением въезда в обе столицы. Письмо старого генерала Н. Н. Раевского Николаю I, в котором он горячо оспаривал „неблаго-

надежность“ сына, но не отрицал его „несчастной страсти“ к Воронцовой, результата не имело.

Портрет Воронцова передает благообразный облик этого вельможи „внешне утонченно вежливого, но внутренне надменного“, по свидетельству хорошо знавшего его современника. Вероятно, к этому англоману Доу чувствовал особенную симпатию. Другой портрет Воронцова, исполненный известным английским художником Лауренсом в романтическом духе, можно видеть в зале английской живописи Эрмитажа. Он написан в 1821 г. в Лондоне.

Но и позже Воронцов часто бывал в Англии, — с английской аристократией его соединяли крепкие родственные связи, — единственная сестра графа была замужем за лордом Пемброком.

#### Е. Ф. КЕРН

В июне 1825 г., уже около года томившийся в глуши Псковской губернии, поэт встретил у своих соседей Осиповых, в имении Тригорское, приехавшую погостить их родственницу, 25-летнюю красавицу, Анну Петровну Керн.

Сильное чувство к Анне Петровне, охватившее Пушкина, заставило его на время забыть все прежние увлечения. Памятником этого чувства является прославленное стихотворение „Я помню чудное мгновенье“ и ряд писем к Керн, написанных в августе—декабре 1825 г.

История жизни А. П. Керн характерна для ее времени и среды. 17-летней девушкой она была выдана самодуром-отцом, помещиком Полторацким, за 52-летнего генерал-майора Ермолая Федоровича Керна.<sup>1</sup> Полторацкому такой брак казался „прекрасной партией“, но, естественно, он не мог быть счастливым. Помимо разницы в возрасте,

<sup>1</sup> Портрет Е. Ф. Керн — правее портрета Воронцова, во втором ряду.

супруги не имели ничего общего во внутренней жизни, интересах и вкусах. Молодая женщина была начитана, сентиментальна, мечтательна и простодушна. Ей трудно было ужиться с годившимся ей почти что в деды малообразованным и грубым человеком, не имевшим других мыслей и разговоров, кроме строевой, плацпарадной службы и отношения к нему начальства, с которым по своему заносчивому и строптивому характеру генерал плохо ладил.

Потомок выходцев из Англии, Е. Ф. Керн начал службу в 16 лет, участвовал в ряде войн, начиная с 1790 г., отличался храбростью, был три раза ранен, более четверти века тянул лямку пехотного офицера и, наконец, в 1813 г. получил чин генерал-майора. После Отечественной войны командовал бригадой и дивизией, а с 1823 г. состоял рижским комендантом.

Первое знакомство Пушкина с Анной Петровной относится к 1819 г., когда генерал с молодой женой приезжал в Петербург хлопотать о новом назначении после столкновения с командиром корпуса, приведшего к отстранению Керна от командования дивизией. На вечере в литературном салоне Олениных поэт встретил юную А. П. Керн, и она запечатлелась в его памяти „как мимолетное виденье, как гений чистой красоты“.

Вторая встреча произошла в Тригорском. Целый месяц гостила Анна Петровна у Осиповых, виделась с поэтом очень часто, побывала со своими родственниками у него в Михайловском. Она слушала чтение Пушкиным только что законченных „Цыган“ и других стихов и сама пела поэту. В это время их взаимное увлечение достигло такой силы, что П. А. Осипова нашла нужным увезти свою молодую племянницу в Ригу, к мужу. В письмах, посылаемых очень часто из Михайловского в следующие недели, обрисовалось всепоглощающее чувство, которое испытывал Пушкин.



Е. Ф. Керн (1765—1841)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



Через два дня после отъезда Керн, поэт писал уехавшей вместе с нею ее двоюродной сестре: „...каждую ночь гуляю я по саду и говорю себе: она была здесь; камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе возле ветки увядшего гелиотропа. Мысль, что я для нее ничего не значу, что, пробудив и заняв ее воображение, я только потешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не делает ее ни рассеянной среди ее триумфов, ни мрачной в дни грусти... нет эта мысль для меня невыносима; скажите ей, что я умру от этого; нет, не говорите, а то это очаровательное создание насмеется надо мною. Но скажите ей, что уж если в ее сердце нет для меня тайной нежности, если нет в нем таинственного, меланхолического ко мне влечения, то я презираю ее, понимаете-ли. Да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно возбудить в ней это столь новое для нее чувство... Я наделал столько глупостей, что сил нет. *Проклятый приезд, проклятый отъезд!*“

В первом письме, адресованном самой Анне Петровне, Пушкин писал: „Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое произвела на меня некогда встреча наша у Олениных. В моей печальной деревенской глуши я не могу сделать лучшего, как стараться более не думать о вас...“

В следующих письмах к А. П. Керн преобладает шуточный тон, за которым кроется, однако, все то же чувство. Так, 28 августа, прося Анну Петровну вновь приехать в Тригорское, Пушкин писал: „Если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности: я буду весел в понедельник, восторжен во вторник, нежен в среду, дерзок в четверг, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, — и всю неделю у ног ваших“.

В ответных письмах А. П. Керн, переживавшей очень

трудный период отношений с ненавистным мужем (пытавшимся как раз в это время свести ее со своим племянником), а также и в письмах Пушкина, постоянно упоминается имя генерала. В большинстве случаев поэт пишет в том же полушутливом тоне, именуя его то „бедным мужем“, то „проклятым Керном“. В письме от 14 августа читаем: „Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, чувствую я к этому человеку. Божественная, ради бога постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него была подагра. В этом моя единственная надежда“. И дальше: „Достойнейший человек этот г-н Керн, степенный, благоразумный и т. д. — один только в нем недостаток, что он ваш муж...“

А в другом письме: „Если ваш почтенный супруг слишком докучает вам, — бросьте его, но знаете ли как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых на Остров и приезжаете... Куда? В Тригорское? Вовсе нет, — в Михайловское. Вот прекрасный проект, который уж четверть часа мучит мое воображение. Понимаете ли, какое это было бы для меня счастье... Можете представить себе удивление вашей тетушки. За этим последует разрыв. Вы будете видеться с вашей кухонной тайком, — а это сделает вашу дружбу менее пошлой, и когда Керн умрет, вы будете свободной, как воздух...“

В начале октября Анна Петровна вновь приехала в Тригорское, на этот раз с мужем, который здесь познакомился с Пушкиным. В письме от 10 октября к своему приятелю А. Н. Вульфу (сыну П. А. Осиповой от первого брака) поэт писал: „Вы конечно уже знаете все, что касается до приезда Анны Петровны. Муж ее очень милый человек, — мы познакомились и подружился“. Но в действительности было иначе. Сама А. П. Керн кратко сообщала, что Пушкин „очень не поладил с мужем“.

Вскоре по возвращении супругов в Ригу, Анна Петровна решила навсегда оставить мужа и переехать в Петербург. Перед отъездом она послала поэту сочинения Байрона, которые он давно хотел иметь. Отвечая, Пушкин писал 8 декабря: „И так вас и всегда вас судьба посылает для услаждения моего уединения. Вы ангел утешитель, но я только неблагодарный, что еще ропщу. Вы отправляетесь в Петербург, — и мое уединение тяготит меня более, чем когда-либо“. И через несколько строк: „Опять берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у колен ваших; что я все люблю вас; что иногда ненавижу вас; что третьего дня я говорил о вас ужасные вещи; что я целую ваши прелестные ручки; что я снова целую их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны...“

Это—последнее из семи дошедших до нас писем поэта к А. П. Керн, замечательных писем, о которых один из исследователей жизни и творчества Пушкина говорит: „Прочитав эти письма, каждый скажет, что их пишет не только влюбленный до безумия человек, но и человек необыкновенный. Тут раскрывается вся душа его, как у всякого в порыве страсти. Все вообще его приятельские письма отличаются необыкновенным остроумием, неожиданными оборотами речи, шутливым тоном, даже и тогда, когда, кажется, совсем бы не до шутки; но в письмах к любимой женщине все это еще усиливается, а между тем здесь слышится и бешеная любовь, и нежность, и опасения, и подозрения, и ревность, — и ничего нет натянутого, фальшивого, принужденного“.

В Петербурге Анна Петровна очень подружилась с сестрой поэта, Ольгой Сергеевной, братом Львом, а также с ближайшим другом Пушкина — А. А. Дельвигом и его женой. Возвратясь из ссылки, Пушкин часто бывал у А. П. Керн. Однажды в 1829 г. приехав к ней,

он написал, сидя на низкой скамеечке, стихотворение „Приметы“:

Я ехал к вам; живые сны,  
За мной вились толпой игривой...

Генерал Керн неоднократно пытался вернуть свою жену к ее „супружескому долгу“ и решительно отказывал ей в материальной помощи. Не имея никаких средств к жизни, Анна Петровна писала высшему военному начальству, прося воздействовать на скупого старика, но он в свою очередь отвечал длинными прошениями, обвиняя во всем жену.

Генерал Керн пережил Пушкина. Уволенный в отставку в конце 1837 г., он умер в 1841 г., 75 лет.

Дожив до глубокой старости, А. П. Керн оставила записки о своем знакомстве с поэтом. Они отличаются точностью, правдивостью и скромностью по отношению к своей роли в этот период жизни Пушкина.

Портрет Е. Ф. Керна хорошо передает нерусский тип его характерного, немолодого лица. Видя этот портрет в Галерее, поэт, вероятно, вспоминал свою встречу с генералом в Тригорском и те чувства, которые он тогда к нему испытывал.

#### В. КН. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

В первых числах декабря 1825 г. Пушкин узнал, что Александр I умер 19 ноября в Таганроге. Весть о смерти царя, повелением которого он был сослан в Псковскую глушь, давала поэту некоторую надежду на освобождение. Это чувство звучит в письме к поэту и драматургу П. А. Катенину от 4 декабря, в котором Пушкин писал: „Может быть нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт, радуясь

восшествию на престол Константина I; в нем очень много романтизма: бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем — напоминают Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего“.

В эти дни Пушкин, как и все в России, считал, что после бездетного Александра русский престол займет следующий по старшинству сын Павла I, — Константин. В действительности же существовал державшийся в строгом секрете манифест Александра I, назначившего в 1823 г. своим преемником следующего брата, — Николая. Но об этом документе не знал даже сам новый наследник. Результатом такого странного положения явилось повсеместное провозглашение царем Константина и принесение ему присяги. Однако Константин, согласно воле которого был составлен секретный манифест 1823 г., решительно отказывался принять царский титул и выехать из Варшавы, где он командовал польско-литовскими войсками. Как известно, „междоцарствие“ продолжалось вплоть до 14 декабря, когда в Петербурге была принесена новая присяга, уже Николаю I, использованная членами Северного Тайного общества, как удобный момент для поднятия восстания.

„Верноподданный“ тон письма Пушкина объясняется более всего тем, что оно шло по почте и могло быть вскрыто. А данный в нем отзыв о Константине, как об умном человеке, является, по всей вероятности, не более, как скрытым противопоставлением этого, весьма сомнительного для всех его знавших, ума — умственным способностям младших братьев, Николая и Михаила Павловичей. Эти великие князья пользовались установившейся репутацией людей узких, малообразованных, чуждых вопросам государственного управления и всецело поглощенных строевой муштрой гвардейских частей, во главе которых стояли.

Пушкин, так же как и Катенин, не мог не знать основных фактов биографии и личных качеств Константина, отнюдь не дававших ему, казалось бы, оснований для подобной положительной характеристики.

С самого рождения Константин Павлович был предназначен своей бабушкой, Екатериной II, в императоры новой Византийской империи, которую она мечтала создать. Этим обуславливалось имя Константина, его кормилицей была гречанка, он изучал ново-греческий язык, ему в товарищи детских игр избирались мальчишки-греки. Но, более всех братьев внешне похожий на своего отца, Константин и по внутренним качествам был к нему близок. Он гораздо охотнее предавался изучению воинских уставов и плац-парадной службы гатчинских войск, чем занимался политикой. А во время восстания греков, сражавшихся за свою национальную независимость, называл их „бунтовщиками против своего законного монарха — султана“.

Близок к Павлу был Константин и по характеру. Уже его воспитатель, Лагарп, отмечал беспричинные „вспышки самого необузданного гнева“ Константина, проявлявшиеся и дальше в течение всей жизни в виде грубых выходок, не раз приводивших к конфликтам с офицерами частей, которыми он командовал. Говоря о „романтической молодости“, Пушкин мог иметь в виду долготлетнюю влюбленность Константина в жену его брата Александра, императрицу Елизавету Алексеевну. Когда в 1806 г. близкий к ней молодой офицер А. Охотников был смертельно ранен при выходе из театра, в петербургском обществе считали, что это — акт мести ревнивого Константина.

Участие в походах Суворова 1799 г. и в следующих войнах не помешало Константину стать, с одной стороны, восторженным почитателем не великого русского полководца, а Наполеона, и, с другой, — навсегда остаться верным поклонником палочной дисциплины и великим знато-

ком всех тонкостей „фрунтовой прусской науки“. Константин принадлежат такие характерные замечания, как произнесенное при взгляде на застывших в строю солдат: „Всем хороша стойка, одно жаль, — заметно как дышат“. Или другое „глубокомысленное“ высказывание при смотре полков, возвращавшихся из похода 1812—1814 гг., показавшихся ему недостаточно вымуштрованными: „Война портит войска“.

Командуя в начале кампании 1812 года гвардейским корпусом, Константин не понимал всей целесообразности действий Барклая-де-Толли и позволял себе с обычной бесцеремонностью критиковать распоряжения главнокомандующего.<sup>1</sup> Поведение его было настолько вызывающим и нетактичным, что Барклай должен был выслать его из армии. С 1815 г. Константин стал во главе войск Царства Польского, которым фактически управлял, как наместник своего брата Александра. Женитьба на польской аристократке не изменила резко отрицательного отношения к нему со стороны поляков, национальные чувства которых он грубо, по-самодурски, попирал в течение 16 лет своего управления.

Бежав из Варшавы в 1830 г. при начале восстания поляков против царизма, Константин выказал вслед затем полную растерянность, малодушие и трусость. Уехав из армии, он не был допущен возвратиться к командованию рассерженным Николаем I и вскоре умер от холеры в Минске 15 июня 1831 г.

Нам неизвестно, видел ли когда-нибудь Пушкин Константина Павловича. В 1815—1817 гг., когда юный поэт наблюдал двор Александра I в Царском Селе, Константин жил уже в Варшаве. Однако Пушкин не мог не знать о чрезвычайной непопулярности этого великого князя

<sup>1</sup> Мы знаем, насколько зрело расценивал Пушкин в 1835 г. действия Барклая. Ему поэт посвятил стихотворение „Полководец“, о котором подробнее см. выше.

в прогрессивных кругах русского общества, не мог не слышать о его диких выходках и грубости, хотя бы от своего друга Вяземского, служившего в Варшаве и высланного оттуда Константином в 1820 г.

В свою очередь и Константин Павлович много слышал о Пушкине и имел чрезвычайно характерное мнение о прославленном поэте. Когда весной 1828 г. Пушкин просил разрешения отправиться волонтером в армию, сражавшуюся с турками, Константин, узнав об этом, как и о подобной же просьбе П. А. Вяземского, писал Бенкендорфу: „Поверьте мне, любезный генерал, что, в виду прежнего их поведения, как бы они ни старались теперь выказать свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно было бы в чем-нибудь положиться“.

Еще до получения этого совета, Николай I и Бенкендорф рассудили так же — Пушкину и Вяземскому было отказано. Но не знавший этого Константин не успокоился и через две недели вновь писал: „Неужели вы думаете, что Пушкин и Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные... Нет, не было ничего подобного: они уже так заявили о себе и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в этой просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом и с большим удобством своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров“.

Как видим, Константин, помнивший „вольномыслие“ Пушкина, столь известное в последние годы царствования Александра, боялся влияния великого поэта на военную молодежь.

Портрет Константина Павловича — один из четырех больших портретов, написанных Доу в полный рост. Такое

почетное место в Галерее обусловлено только тем, что оригинал его был родным братом царя. Константин не был талантливым генералом и даже „не принадлежал к числу бесстрашных“, как свидетельствует не раз видевший его в боевой обстановке Д. В. Давыдов. Однако изображен великий князь на фоне сражения и рядом с ним показано трофейное французское знамя („орел“) 4-го пехотного полка,<sup>1</sup> отбитое рядовым конногвардейцем Гавриловым в бою под Аустерлицем. Такие детали портрета объясняются только тем, что Константин командовал в 1805—1807 гг. гвардейским корпусом. Сам брат царя не участвовал в героической атаке гвардейской кавалерии, прославившей ее в Аустерлицком бою.

Портрет может служить образцом идеализации изображаемого лица. Константин был чрезвычайно некрасив. Такой же курносый, как его отец Павел I, с тяжелой нижней челюстью и землистым цветом лица, непропорционально сложенный, с необычайно длинными руками, сутулый и неловкий в движениях, Константин очень мало походил на изображенного Доу щеголя с почти классическим телосложением, облеченного в парадный генеральский мундир.

#### И. И. ДИБИЧ

Осенью 1826 г. окончилась, наконец, ссылка Пушкина. Новый царь, только что расправившийся с декабристами, захотел с ним увидеться, чтобы попытаться „приручить“ поэта. „Железная рука Николая облекалась порой в бархатную перчатку“, — пишет один из исследователей жизни Пушкина.

К Псковскому губернатору был послан фельдъегерь с секретным приказом немедленно отправить поэта в

<sup>1</sup> Древо этого знамени с орлом находится в Эрмитаже; его можно видеть в Пикетном зале на выставке „Героическое военное прошлое“.

Москву, где после коронации находился Николай I. В приказе, подписанном начальником главного штаба генералом-от-инфантерии бароном Иваном Ивановичем Дибичем,<sup>1</sup> говорилось, что везти Пушкина надо „в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, в сопровождении только фельдъегеря“.

Извещенный губернатором поэт выехал из села Михайловского утром 4-го сентября и в тот же день, уже вместе со своим неизбежным спутником, отправился дальше в родной город, в котором не бывал столько лет. Проскакав свыше 700 верст в четверо суток, утром 8-го сентября Пушкин прибыл в Москву и явился, как было приказано, вместе с фельдъегерем к дежурному генералу, который немедленно известил о том Дибича. Начальник главного штаба ответил распоряжением доставить Пушкина к 4 часам того же дня, в его, Дибича, комнаты в Чудовом дворце, в котором жил Николай и ближайшие лица его свиты.

Вероятно, именно Дибич ввел усталого с дороги и встревоженного поэта в кабинет царя. По свидетельству самого Николая, на его первый вопрос, заданный при этом свидании: „Что бы ты сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге?“ — Пушкин не задумываясь ответил: „Стал бы в ряды восставших, — все мои друзья были там“. Этим начался двухчасовой разговор царя с поэтом, в котором, между прочим, на замечание Пушкина о нелепых строгостях цензуры, Николай приказал присылать все, что будет написано, к нему лично, „милостиво“ пообещав „сам быть цензором“ поэта и тем установив новую форму царского контроля над его творчеством.

Генерал Дибич с 1823 г. состоял начальником главного штаба и в описанном случае уже не в первый

<sup>1</sup> Портрет Дибича — на той же стене, где портрет Константина Павловича, но за колоннами, ближе к Преддверковной, в нижнем ряду.



И. И. Дибич (1785—1831) 124



раз „принял участие“ в судьбе Пушкина. Летом 1825 г. в ответ на ходатайство матери и друзей поэта о разрешении ему приехать для лечения в одну из столиц, Дибич, по приказу Александра I, писал, что Пушкину позволено лечиться во Пскове, и такое решение было тяжелым разочарованием для поэта.

В первые месяцы 1826 г. во время следствия по делу декабристов выяснилось, какое большое влияние имели сочинения Пушкина на многих из арестованных, и это вызвало особый интерес к великому поэту со стороны Николая I, решавшего, следует ли привлечь Пушкина к ответственности, или выгоднее попытаться сделать его „своим“. Будучи одним из наиболее доверенных слуг царя, Дибич в это время являлся тем лицом, которому доставлялись сведения о Пушкине для ознакомления с ними Николая. Он докладывал царю весной 1826 г. сообщение Петербургского генерал-губернатора о ставшем известным нежелании Пушкина печатать законченного им „Бориса Годунова“ до разрешения приехать в Петербург или Москву. Дибич же следил за выходом в свет сочинений поэта, ему доносили о передаче П. А. Плетневу для печатания в Москве поэмы „Цыганы“. Через Дибича были представлены Николаю написанные Ф. Булгариным доклады-доносы о Царскосельском лицее и обществе „Арзамас“, где видное место уделялось Пушкину и его „крамольному духу“. Дибичу, уже после привоза поэта в Москву, доставлялись выписки из перлюстрированных писем, в которых говорилось о Пушкине. На них сохранились надписи начальника главного штаба: „Для объяснений с генералом Бенкендорфом“. Эти пометки как бы определяют время передачи Дибичем наблюдений за великим поэтом в руки нового лица — Бенкендорфа.

Нам неизвестно, встречался ли Пушкин с Дибичем до осени 1826 г., но, вероятно, поэт слышал о нем, хотя

бы от Н. Н. Раевского-младшего, состоявшего одно время адъютантом Дибича.

Сын прусского генерала, принятого на русскую службу при Павле, И. И. Дибич, окончив Берлинский кадетский корпус, начал службу в русских войсках в 1801 г. Пробыв несколько лет в строю, он перешел на штабную работу и выдвинулся на ней энергией и смелостью во время войн 1807—1814 гг., быстро пройдя служебный путь до чина генерал-лейтенанта включительно. В 1823 г. Дибич заменил начальника главного штаба, П. Н. Волконского, не ужившегося с Аракчеевым, и прекрасно поладил с этим неизменным любимцем Александра I. К Дибичу в 1825 г. поступали доносы о тайных политических обществах, и в декабре этого года, по его приказу, произведены аресты на юге России. В 1829 г., командуя русской армией в войне с Турцией, Дибич перешел Балканы и под Адрианополем заключил выгодный для России мир. Среди милостей, которыми он был за это осыпан, получил титул графа Дибича-Забалканского. Назначенный главнокомандующим при подавлении Николаем I польского восстания 1830—1831 гг., Дибич не оправдал надежд, возлагавшихся на него царем. Проявленные им нерешительность и вялость привели Николая I в бешенство. Отставка Дибича была решена, когда в мае 1831 г. он умер от холеры.

В письмах Пушкина за 1831 г. мы находим много упоминаний о полководческих неудачах Дибича и о его смерти, занимавших тогдашнее столичное общество.

Портрет Дибича передает его наружность в крайне смягченном и прикрашенном виде. Маленький, кривобочный, неуклюжий, с короткой шеей и огромной головой, багрово-красным лицом и длинными ярко-рыжими волосами, чрезвычайно неряшливый, с неясной, отрывистой речью, вспыльчивый и крикливый, часто нетрезвый, пруссак Дибич был крайне непопулярен в армии. В вой-

сках передавали характерное замечание Павла I, который будто бы сказал: „Фигура поручика Дибича наводит уныние на целую роту“.

#### А. Х. БЕНКЕНДОРФ

С осени 1826 г. постоянным посредником в сношениях Николая I с Пушкиным стал генерал-лейтенант Александр Христофорович Бенкендорф,<sup>1</sup> незадолго до этого возглавивший вновь созданную политическую полицию — III Отделение царской канцелярии и корпус жандармов. По выражению одного из историков жизни и творчества Пушкина, „с этого времени фигура Бенкендорфа становится рядом с поэтом и неотступно сопровождает его уже до самой могилы“.

Не понимая исключительного национального значения Пушкина, Николай и Бенкендорф видели в нем только пользующегося огромным влиянием опасного вольнодумца, за которым нужно было неотступно следить. Выполняя волю царя, Бенкендорф через своих агентов осуществлял систематическую слежку за всеми действиями Пушкина, в то же время, в частых письмах и при встречах, напоминая поэту об „особом внимании“ к нему Николая и том поведении, которого от него требовали.

Первым и очень типичным образцом долголетних отношений шефа жандармов с поэтом явилось письменное замечание Пушкину за то, что он читал в дружеском кругу „Бориса Годунова“, еще неизвестного высочайшему цензору. А по ознакомлении Николая с этим гениальным произведением, Бенкендорф сообщил поэту, что царь советует переделать его „в историческую повесть или роман, на подобие Вальтер-Скотта“. Вот каковы были художественные вкусы этих „высоких“ ценителей!

<sup>1</sup> Портрет Бенкендорфа — седьмой влево от портрета Дибича.

Одновременно, сообщая поэту о прочтении царем записки Пушкина „О народном воспитании“, поручение составить которую явилось как бы политическим экзаменом, шеф жандармов язвительно писал другу и единомышленнику недавно сосланных декабристов: „Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то основаниях должно быть основано благонравственное воспитание“.

Вскоре, получив для представления Николаю от редактора альманаха „Северные цветы“, Дельвига, „Цыган“, часть III главы „Онегина“ и „19 октября“, 1826 г., Бенкендорф письменно выразил великому поэту „крайнее удивление“, что он не сам доставил свои стихи, а „избрал посредника в сношениях, основанных на высочайшем соизволении“.

Началась длинная цепь подозрений, придировок, замечаний и выговоров, составляющих более чем десятилетние отношения Бенкендорфа к Пушкину. К шефу жандармов, и только к нему, должен был обращаться поэт по поводу напечатания своих произведений, да и в других делах, требовавших разрешения властей. Так, весной 1828 г. именно через Бенкендорфа Пушкин просил царя о зачислении его волонтером в армию, действовавшую против турок, и от него же получил отказ с мотивировкой, что „все места уже заняты“. Это не помешало Бенкендорфу тогда же предложить Пушкину службу в своей личной походной канцелярии, от которой он, конечно, отказался.

Считалось, что поэт „прощен“ и свободен, но когда

летом следующего года он, не спросив Бенкендорфа, поехал в Тифлис и оттуда в армию Паскевича, где служил его брат, шеф жандармов по возвращении грозно спросил: „По чьему позволению предприняли вы сие путешествие?“ Пушкину приходилось оправдываться и извиняться. При этом Бенкендорф, сообщавший, что Николай I будто бы только из газет узнал о поездке поэта, безбожно лгал. Об отъезде Пушкина шеф жандармов (а за ним, конечно, и царь) был осведомлен своими агентами вполне своевременно и тотчас отдал распоряжение о строжайшем тайном надзоре за Пушкиным в Москве, по дороге, в Тифлисе и в армии.

В начале 1830 г. Пушкин просил через Бенкендорфа о разрешении совершить путешествие в Италию или Францию, а если ему этого не позволят, то прикомандировать к посольству, отправлявшемуся в Китай. Ответ шефа жандармов гласил, что Николай I не согласился на поездку поэта за границу, „полагая, что это очень расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет от занятий“. Отказано было и в прикомандировании к посольству. А когда в марте того же года поэт, хоть и сказав при встрече с Бенкендорфом на улице о своем намерении, уехал из Петербурга в Москву, он тотчас получил строгий запрос о причине поездки, с требованием объяснений, почему она не была письменно согласована с шефом жандармов.

Придя в отчаяние от такой „заботливости“, Пушкин писал Бенкендорфу 24 марта: „Несмотря на четыре года поведения безупречного, я не смог приобрести доверия власти! С огорчением вижу я, что всякий шаг мой возбуждает подозрение и недоброжелательство... Удостоьте хоть на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать“. В этом

же письме Пушкин сообщил Бенкендорфу об оскорбительных нападках на него пресловутого журналиста Ф. Булгарина, хвалившегося близостью к шефу жандармов, и в заключение просил разрешения поехать в Полтаву для свидания со своим другом, генералом Н. Н. Раевским-младшим. В ответе шефа жандармов сообщалось, что он отнюдь не считает положение поэта непрочным, что от него самого зависит сделать его еще более устойчивым, что никто не оказывает на него, Бенкендорфа, влияния во вред Пушкину и т. д. Что же касается до поездки в Полтаву, то царь безусловно запрещает ее, так как „имеет основания быть недовольным поведением“ Раевского. При этом Бенкендорф опять писал заведомую ложь, — Булгарин, давний и постоянный сотрудник III Отделения, наушничал своему патрону на ненавистного ему поэта, и как раз в это время Бенкендорф в своих докладах Николаю всячески оправдывал Булгарина и чернил Пушкина.

Через месяц, в связи со своей помолвкой, поэт обратился к шефу жандармов с новым письмом, в котором сообщал о затруднительном положении по отношению к родным своей невесты, Н. Н. Гончаровой, которым известно недоверие к нему правительства, и писал, что мать невесты „боится отдать ее за человека, который на дурном счету“ у царя. Бенкендорф отвечал полным лицемерия письмом, начав его сообщением об удовлетворении Николая при известии о предстоящей женитьбе поэта. Далее читаем: „Что же касается вашего положения по отношению к правительству, то я могу только повторить то, что я говорил вам уже столько раз: я нахожу, что оно вполне согласуется с вашими интересами, в нем не может быть ничего ни фальшивого, ни сомнительного, если, конечно, вы сами не захотите сделать его таковым. Его величество император, с истинно отеческим благоволением к вам, соизволил поручить мне,



А. Х. Бенкендорф (1783—1844)



генералу Бенкендорфу, — не как шефу жандармов, но как человеку, которому он изволит оказывать доверие, — наблюдать за вами и руководствовать вас советами. Никогда никакая полиция не получала приказаний следить за вами. Советы, которые я время от времени давал вам как друг, могли быть вам только полезны, и я надеюсь, что вы убедитесь в этом современном еще больше. Какие же теневые стороны можно найти в вашем положении в этом отношении?...”

Ничто не изменилось и после женитьбы Пушкина, — попрежнему поэт должен был при каждом сколько-нибудь значительном шаге своей жизни обращаться за разрешением к Бенкендорфу. Именно ему писал Пушкин в 1831 г. по поводу поступления своего на государственную службу, и от Бенкендорфа (после доклада царю) исходило распоряжение об определении оклада жалованья нового чиновника. К нему же обращается в июне 1834 г. поэт, уже носящий звание камер-юнкера царского двора, и тем обязанный участвовать в дорого стоящей придворной и светской жизни, с просьбой исходатайствовать ему отставку. И того же шефа жандармов просит он не давать хода отставке, после грозного сообщения Бенкендорфа, что его не будут „удерживать против воли“, но при этом воспретят доступ в государственные архивы, столь нужные Пушкину для работы; Бенкендорфа через год просит поэт, задыхаясь в тисках материальных затруднений, о длительном отпуске, и от него же получает холодный ответ, что без отставки такой отпуск невозможен.

От усмотрения Бенкендорфа продолжало зависеть опубликование произведений Пушкина, удовлетворение его просьб о ссудах на их напечатание, разрешение участвовать в журналах и т. д. Больно и горько читать просьбы величайшего русского поэта, обращенные к бездушному и надменному чиновнику, и еще тяжелее зна-

комиться с ответами шефа жандармов, полными придиричливой взыскательности и оскорбительно-высокомерной вежливости. Мы знаем теперь, с каким недоброжелательством и неизменно холодным пренебрежением перетолковывал Бенкендорф в своих докладах царю каждую просьбу, каждый шаг Пушкина, рисуя его легкомысленным, расточительным и неблагодарным.

Не прекращалась и слезка за поэтом. Стоило ему уехать из Петербурга, как тотчас вслед летели распоряжения о „строжайшем секретном надзоре“. Так было, например, в 1833 г. во время поездки Пушкина через Москву и Нижний Новгород в Оренбург для сбора материалов к „Истории Пугачева“, позже переименованной по приказу Николая, сообщенному тем же Бенкендорфом, в „Историю Пугачевского бунта“. Самые интимные письма Пушкина к друзьям и жене, так же как и обращенные к нему, тщательно перлюстрировались и не раз становились достоянием Бенкендорфа, а через него — Николая I.

Пушкин хорошо понимал роль Бенкендорфа, ненавидел и презирал его, но, несмотря на это, до последних дней жизни должен был пользоваться посредничеством шефа жандармов в сношениях с царем, который через того же Бенкендорфа не выпускал поэта ни на шаг из поля своего наблюдения. Бенкендорфу писал Пушкин в ноябре 1836 г. о первом своем столкновении с Дантесом. Ему же сообщал 27 января 1837 г. о готовящейся роковой дуэли. Однако это последнее письмо не было отправлено. Его вынули из кармана окровавленного сюртука поэта уже после его смерти.

Бенкендорф, едва ли не самая враждебная Пушкину личность царского окружения, не прекращал своих преследований и после трагической гибели великого поэта. Именно по мысли Бенкендорфа, Николай I приказал начальнику штаба корпуса жандармов генералу Дубельту участвовать в разборке бумаг покойного поэта,

помимо первоначально назначенного для этого В. А. Жуковского. И Дубельт тщательно перечитывал рукописное наследие Пушкина, докладывая о всем подозрительном своему начальнику. Агенты III Отделения и жандармы наполняли квартиру Пушкина и Конюшенную церковь во время панихид и отпевания его тела. А при отвозе праха поэта для погребения в Святогорский монастырь его сопровождал до могилы, вместе с А. И. Тургеневым, жандармский офицер.

Истинное отношение Бенкендорфа и других подобных ему „верных царских слуг“ к великому поэту с большой точностью раскрыто в поданном Николаю I почти через год после смерти Пушкина „Отчете о деятельности корпуса жандармов за 1837 год“:

„В начале сего года умер от полученной на поединке раны знаменитый наш стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он однако же до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина, собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относятся ли все эти почести более к Пушкину — либералу, нежели к Пушкину — поэту. В сем недоумении и имея ввиду отзывы некоторых

благомыслящих людей, что подобное, как бы народное изъятие скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено“.

Эти казенные строки, представленные царю за подписью Бенкендорфа, как бы подводили итог отношения их обоих к Пушкину. И как естественно после признания Пушкина вождем передовых русских людей его времени звучит в устах жандармов сообщение о трусливых мерах, принятых ими, чтобы лишить покойного заслуженных почестей!

В трагической судьбе Пушкина мрачная фигура Бенкендорфа стоит рядом с Николаем I, и едва ли не в равной мере на них обоих падает вечная ответственность за безвременную гибель великого поэта.

Служебная карьера А. Х. Бенкендорфа в значительной степени объясняется близостью к царской семье его матери, урожденной баронессы Шиллинг-фон-Канштадт. Она была подругой юности матери Александра и Николая, царицы Марии Федоровны, и вместе с нею приехала из Вюртемберга в Россию, где вышла замуж за рижского военного губернатора, генерала Х. И. Бенкендорфа. С детства будущий шеф жандармов был „своим человеком“ для семьи Романовых. 15 лет от роду Бенкендорф произведен в прапорщики и назначен флигель-адъютантом Павла I. Позже участвовал в войнах с французами и турками и летом 1812 года произведен в генерал-майоры. В кампаниях 1812—1814 гг. выказал себя предприимчивым кавалерийским генералом. В 1819 г. назначен начальником штаба гвардии и генерал-адъютантом Александра I. С 1822 г., уже командуя кавалерийской дивизией, по собственному почину и склонности, собирал сведения о тайных политических обществах в армии.

о которых письменно докладывал Александру I. Это обратило на Бенкендорфа особое внимание нового царя, назначившего его членом суда над декабристами, заседав в котором Бенкендорф ознакомился с тем влиянием, которое имела поэзия Пушкина на молодое поколение.

В 1826 году Бенкендорф стал во главе жандармерии и III Отделения и в течение всей последующей деятельности тщательно следил за судьбой сосланных декабристов, их перепиской и иными сношениями с внешним миром, беспощадно отклоняя все, что могло служить к облегчению их участи. Пушкин имел случай лично убедиться в этой стороне деятельности Бенкендорфа. 27 апреля 1836 г. агенты шефа жандармов выследили передачу Пушкину письма от томившегося в ссылке его друга, В. К. Кюхельбекера, и это письмо немедленно было затребовано от поэта, так же как и объяснения, через кого оно было получено.

Высоко ценивший Бенкендорфа Николай наградил его в 1832 г. графским титулом. Однако шеф жандармов отнюдь не был самостоятельным деятелем, находясь под значительным влиянием своих помощников, фон-Фока и, позже, Дубельта.

Наряду с Дибичем, Бенкендорф являлся типичным представителем столь многочисленной тогда при дворе и в армии группы служилых немцев, чуждых интересам России, но лакейски преданных своим господам — Романовым.

Сохранилось немало характеристик Бенкендорфа как человека и государственного деятеля. Одну из наиболее беспощадных дает граф М. А. Корф, ярый монархист и крупный чиновник николаевской империи. Он пишет: „Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенным беспамятством и вечной рассеянностью, наконец без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и вечно являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним в Комитете

министров и в Государственном Совете, я ни однажды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересоваться его лично. Часто случалось, что он, после заседания, на котором присутствовал с начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений. Должен еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, при довольно живом светском разговоре, он имел лишь самое поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно“.

Приятельница Пушкина, А. О. Россет-Смирнова, писала о Бенкендорфе: „Он обладает педантическим упрямством немецкого советника, он совершенно лишен идеала, воображения и был бы превосходным чиновником в Гессен-Касселе и всякой другой трущобе; он действует в стране, которой не знает, он исполнен тайного презрения немцев к die Russen, он не любит России...“

Близко наблюдавший Бенкендорфа А. И. Герцен, лично побывавший в его лапах, отмечал: „Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво-добрый взгляд...“

Это выражение фальшивой благостности хранит лицо Бенкендорфа и на портрете, находящемся в Галерее. Он написан в 1822 г. — за четыре года до „знакомства“ шефа жандармов с великим поэтом.

Именно здесь, рядом с невыразительным и „обманчиво-добрый“ лицом Бенкендорфа, мы, думая о судьбе Пушкина, должны представить себе почти классически правильный, но холодный и надменный облик императора Николая, который в сознании поэта был неотделим от его верного слуги, Бенкендорфа.



П. В. Голенищев-Кутузов (1772—1843)



Летом 1828 года над Пушкиным нависла неожиданная гроза. До петербургского митрополита дошла антирелигиозная поэма „Гавриилиада“, и, по его жалобе, была создана комиссия для разыскания автора. Вскоре поэт был вызван на допрос к Петербургскому генерал-губернатору, генералу-от-кавалерии Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову.<sup>1</sup> Отказавшись первоначально от авторства, Пушкин вскоре был, по приказу царя, вновь допрошен Голенищевым-Кутузовым. Поэту не верили, от него требовали указания, кто автор „Гавриилиады“. На третьем допросе Пушкин написал письмо Николаю, которое передал для доставления в запечатанном виде. В этом, не дошедшем до нас, письме он, вероятно, признал себя автором поэмы. Дело было прекращено. Поэтическим памятником волнений этих дней осталось стихотворение „Предчувствие“, датированное августом 1828 г.:

Снова тучи надо мною  
Собралися в тишине,  
Рок завистливый бедою  
Угрожает снова мне...

Сохраню-ль к судьбе презренье?  
Понесу-ль навстречу ей  
Непреклонность и терпенье  
Гордой юности моей?...

Петербургским генерал-губернатором Голенищев-Кутузов (дальний родственник знаменитого фельдмаршала) был назначен вместо убитого 14 декабря 1825 г. Милорадовича. 13 июня 1826 г. он лично руководил казнью декабристов.

Голенищев-Кутузов был опытным „градоправителем“. В 1810—1812 гг. он состоял петербургским обер-полицей-

<sup>1</sup> Портрет Голенищева-Кутузова — налево от портрета Бенкендорфа.

мейстером, и молва связывала с его именем происхождение слова „кутузка“, которым обозначался холодный полицейский карцер.

В 1812 году Голенищев-Кутузов в первую половину кампании „состоял“ при Александре I, а с октября командовал кавалерийским отрядом, принявшим участие в преследовании отступавшего врага.

#### А. А. ЗАКРЕВСКИЙ

В те же месяцы, когда происходило расследование по делу „Гавриилиады“, т. е. летом и осенью 1828 г., Пушкин часто посещал дом незадолго до этого назначенного министром внутренних дел генерал-лейтенанта Арсения Андреевича Закревского.<sup>1</sup> Но не общение с высокопоставленным генералом привлекало сюда поэта. В октябре этого года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: „Пушкин, сказывают, поехал в деревню... Целое лето кружился он в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую“. И действительно, мы знаем ряд стихотворений великого поэта, посвященных этой оригинальной и привлекательной женщине, прославленной красотой и многочисленными романическими приключениями. В первом из них—„Портрет“,—Пушкин рисует такой образ А. Ф. Закревской:

С своей пылающей душой,  
С своими бурными страстями,  
О жены севера, меж вами  
Она является порой,  
И мимо всех условий света  
Стремится до утраты сил,  
Как беззаконная комета  
В кругу расчисленных светил.

<sup>1</sup> Портрет Закревского — третий влево от портрета Голенищева-Кутузова.

Комментируя это стихотворение, один из исследователей говорит: „Яркой, беззаконной кометой пронеслась она в 20-х годах по небосклону чиновного и лицемерно-добродетельного большого света“.

В другом, посвященном Закревской, стихотворении Пушкина „Наперсник“ читаем:

Твоих признаний, жалоб нежных  
Ловлю я жадно каждый крик:  
Страстей безумных и мятежных  
Как упоителен язык!  
Но прекрати свои рассказы,  
Таа, таа свои мечты:  
Боюсь их пламенной заразы,  
Боюсь узнать, что знала ты!

В письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 г., рассказывая о своей петербургской жизни, поэт сообщал: „Я пустился в свет потому, что бесприютен. Если б не Закревская, твоя медная Венера, то я бы с тоски умер“.

Прозвище „медная Венера“, данное А. Ф. Закревской Вяземским, объяснялось монументальной фигурой рослой красавицы, как бы отлитой из бронзы. Может быть, именно эта особенность внешности Закревской, напоминавшей ожившую статую, отмечена и Пушкиным в строфе „Онегина“, где он описывает встречу Татьяны с Закревской, выведенной под именем Нины Воронской:

Беспечной прелестью мила,  
Она сидела у стола  
С блестящей Ниной Воронскою,  
Сей Клеопатрою Невы.  
И верно б согласились вы,  
Что Нина мраморной красою  
Затмить соседку не могла,  
Хоть ослепительна была!

Не случайно и наименование „Клеопатрой Невы“, — из всех близких поэту женщин Закревская по своему

характеру и темпераменту более всех походила на героиню „Египетских ночей“ Пушкина.

Наконец, по мнению некоторых исследователей, именно Закревская описана Пушкиным под именем Зинаиды Вольской в неоконченном наброске 1828 г., начинающемся словами: „Гости съезжались на дачу“. В уста одного из действующих в нем лиц поэт вложил буквально то, что сам говорил и писал друзьям о Закревской в это время.

Аграфена Федоровна Закревская, рожденная графиня Толстая, двоюродная сестра знаменитого скульптора и медальера Ф. П. Толстого, 19 лет вышла замуж за 35-летнего генерала А. А. Закревского, и уже очень скоро петербургский „свет“ говорил и писал о ее эксцентричности и любовных приключениях. В 1825 г. ею был сильно увлечен приятель Пушкина, известный поэт Е. А. Баратынский, воспевший ее в ряде стихотворений под именем „княгини Нины“, заимствованным Пушкиным при показе Закревской в приведенной выше строфе из „Евгения Онегина“.

Существуют указания, что и в последние годы жизни великий поэт относился к А. Ф. Закревской с неизменной симпатией, любил ее живой и занимательный разговор, читал ей при встречах свои новые стихи. Племянница Закревской рассказывает в своих воспоминаниях, что, когда тело Пушкина было после отпевания поставлено в склеп Конюшенной церкви и друзья поэта приходили с ним прощаться, ее тетка была в числе лиц, оставшихся здесь на всю последнюю ночь. Она вплоть до утра то обливалась слезами, то повествовала окружающим ее барыням, что Пушкин был в нее влюблен, и рассказывала эпизоды из их отношений.

Генерал А. А. Закревский принадлежал к числу видных военно-административных деятелей царствований Александра и Николая. Сын мелкопоместного дворянина,



А. А. Закревский (1786—1865)



он начал службу в одном из армейских пехотных полков, которым командовал талантливый молодой генерал, Н. М. Каменский. Став его адъютантом, Закревский участвовал вместе со своим начальником в ряде войн 1805—1810 гг. против французов, шведов и турок, отличаясь при этом распорядительностью и храбростью. После смерти Каменского, Закревский был назначен адъютантом к М. Б. Барклаю-де-Толли, в штабе которого прослужил кампанию 1812 года. Выказал особенную храбрость при Бородине, где под жестоким вражеским огнем развозил по полю битвы приказы Барклая и сопровождал ему во время атак.

В 1813—1814 гг. произведенный в генерал-майоры, Закревский стал лично известен Александру I как опытный штабной работник, и в 1815 г., при формировании главного штаба, был назначен дежурным генералом, которому подчинялся инспекторский департамент, т. е. все дела по личному составу армии. Непосредственным начальником Закревского являлся известный уже нам П. М. Волконский. С этого года Закревский постоянно сопровождал царя и летом жил в Царском Селе, где мог его наблюдать лицеист-Пушкин.

После увольнения Волконского в 1823 г., Закревский был сделан финляндским генерал-губернатором, а в 1828 г. Николай I назначил его министром внутренних дел. Переехав из Гельсингфорса в Петербург, Закревские жили в своем доме на Исаакиевской площади. Здесь-то бывал Пушкин, вероятно именно в это время познакомившийся с генералом.

Как министр Закревский вскоре стал известен введенным им педантизмом и формализмом в делопроизводстве, а также необычайной строгостью не только по отношению к петербургским чиновникам своего министерства, но и к губернаторам.

Возведенный в 1830 году в графское достоинство,

Закревский заслужил печальную известность „крутыми“ мерами по борьбе с холерой. Получив от Николая I самые широкие полномочия, он выехал на места, где свирепствовала эпидемия, с целым военным штабом и многочисленными врачами. По его приказу оцеплялись города, по большим дорогам учреждались карантинные заставы; по тем, кто старался пробраться мимо, приказано было стрелять.

Тысячи людей и лошадей с товарными обозами задерживались у застав. А холера, как бы издеваясь над всеми приказаниями Закревского, чудовищными шагами шла все дальше, докатившись, наконец, до Петербурга. Только тогда меры Закревского были признаны бесполезными, и вскоре, в конце 1831 г., сам министр был по прошению уволен в отставку.

К „холерному“ 1830 году относится следующий эпизод жизни Пушкина. Этой осенью поэт уехал в деревню Болдино, принадлежавшую его отцу в Нижегородской губернии, предполагая пробыть там недолго, но вскоре оказался запертым в этой глуши карантинами, учрежденными по приказу Закревского. Две попытки Пушкина прорваться в Москву, где жила его невеста, Н. Н. Гончарова, были безуспешны, — приходилось возвращаться в Болдино.

Почти три месяца пребывания поэта в Болдине отмечены изумительной творческой продуктивностью. За этот срок им были закончены начатые ранее: „Гробовщик“, „Сказка о попе и работнике его Балде“, „Станционный смотритель“, „Барышня-крестьянка“, VIII и IX главы „Онегина“, „Скупой рыцарь“, „Метель“, „Каменный гость“, „Модарт и Сальери“ и написаны целиком „Домик в Коломне“ и „Выстрел“.

В это именно время местный предводитель дворянства письменно потребовал, чтобы поэт взял на себя обязанности по надзору за холерными карантинами ближай-

шего округа. Не веря в пользу принятых мер и не будучи местным помещиком, Пушкин отказался. Вскоре в ближайший городок Лукоянов прибыл сам грозный министр Закревский. На вопрос его, все ли местные дворяне приняли участие в борьбе с холерой, предводитель дворянства Ульянин пожаловался на отказ Пушкина. — „Как он смел это сделать? Покажите мне всю вашу переписку!“ — загремел Закревский. Пушкину было послано строжайшее предписание министра и, как пишет в своих воспоминаниях Ульянин, поэт „принял должность“. Об этом эпизоде Пушкин писал из Болдина своей невесте, объясняя свое положение и полную невозможность приехать в Москву до снятия карантин.

#### А. П. ЕРМОЛОВ

Богато одаренная, оригинальная личность генерала-артиллерии Алексея Петровича Ермолова<sup>1</sup> многократно привлекала внимание Пушкина. Рассказы о блестящих боевых подвигах Ермолова в 1805—1814 гг. поэт, несомненно, слышал от участников этих войн. Отзывы о его человеческих и деловых качествах передавали Пушкину служившие при Ермолове на Кавказе Кюхельбекер, Грибоедов и А. Н. Раевский. В эпилоге „Кавказского пленника“ поэт упомянул Ермолова в числе других „покорителей“ Кавказа, а о его административной деятельности писал брату Льву осенью 1820 г., после поездки в Горячеводск и в Крым: „Ермолов наполнил Кавказ своим именем и благотворным гением“. И когда весной 1829 г. Пушкин отправился в Тифлис, он нарочно заехал в Орел, чтобы лично познакомиться с уже удаленным Николаем I со службы, опальным генералом, место которого занял бездарный Паскевич. Вот как описывает поэт эту встречу

<sup>1</sup> Портрет Ермолова — рядом с портретом Кутузова, справа.

в „Путешествии в Арзрум“ (приводим полный текст, не печатавшийся при жизни Пушкина):

„Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орел, и сделал таким образом двести верст лишних, зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, повидимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче, и всегда язвительно. Говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. Пускай нападет он, говорил Ермолов, на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствующего в Шумле, — и Паскевич пропал. Я передал Ермолову слова графа Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтобы отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. — Можно было бы сберечь людей и



А. П. Ермолов (1777—1861)



издержки, сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он не доволен историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа от ничтожества к славе и могуществу... Немцам досталось. Лет через пятьдесят, сказал он, подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами.<sup>1</sup> Я пробыл у него часа два; ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Разговор несколько раз касался литературы“.

Встреча с поэтом произвела на Ермолова большое впечатление. Вскоре он писал Д. В. Давыдову: „Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта!<sup>1</sup> Я нашел в себе чувства, кроме невольного уважения“. Через несколько строк Ермолов давал восторженный отзыв о творчестве своего недавнего собеседника: „Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Грибоедова, от жевания которых скулы болят. К счастью моему, Пушкин, как кажется, не написал ни одного экзаметра — род стиха, который может быть и хорош, но в *мой рот* не умещается“.

В конце 1831 г., будучи в Петербурге, Ермолов виделся с поэтом и его молодой женой. 31 декабря он писал одному из своих знакомых: „Гончаровой-Пушкиной не может быть женщины прелестней“.

Сохранился черновик письма Пушкина к Ермолову, относящийся к апрелю 1833 г., в котором великий поэт

<sup>1</sup> Ермолов имел в виду множество генералов-немцев, занимавших руководящие посты в армии Николая I. Действительно, во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. различными крупными соединениями командовали: граф Дибич, граф Витгенштейн, барон Будберг, барон Гейсмар, Ридигер, принц Вюртембергский, Рот, Гессе, граф Пален и многие другие.

убеждал генерала писать записки о войнах, в которых он участвовал, и предлагал быть их издателем. А в том случае, если Ермолов сам „не соберется взяться за перо“, Пушкин изъявлял желание „быть его историком“ и просил о сообщении „хотя краткого описания, кратких необходимых сведений“.

Вероятно, Ермолов особенно занимал великого поэта как виднейший военный и административный деятель недавнего прошлого, который, несмотря на полный расцвет сил и способностей, неизменно при Николае I в опале находился и не пользовался доверием правительства, так же как и сам Пушкин.

А. П. Ермолов начал боевую службу в 1794 г., когда за выказанную храбрость получил орден Георгия 4-й степени из рук самого Суворова, чем гордился всю жизнь. При Павле I, сначала по ошибке, а затем за резкие ответы одному из генералов-немцев, Ермолов был арестован, отсидел некоторое время в Петропавловской крепости и, наконец, сослан в Кострому. Освобожденный по вступлении на престол Александра I, Ермолов с трудом добился назначения командиром конноартиллерийской роты, с которой участвовал в кампании 1805 г., выказав вновь редкую храбрость. Однако, несмотря на представление Кутузова, не был ничем награжден благодаря Аракчееву, злобившемуся на молодого офицера за смелые ответы на придиричivé замечания, сделанные во время смотра его роты.

В 1806—1807 годах Ермолов прославился в армии постоянной боевой инициативой, способностью быстро учесть создающуюся обстановку и смело взять на свою ответственность нужную операцию. Так, например, он едва не был отдан под суд за то, что по собственному решению зажег два квартала местечка Маков, чтобы осветить приближение неприятеля к единственному мосту через реку Нарев, по которому переходили наши обозы

и части. Встретив здесь врага огнем своих сорока орудий, Ермолов удерживал его несколько часов и обеспечил благополучную переправу. В одном из сражений на замечание присланного к нему вел. кн. Константином адъютанта, что французы слишком близко подходят к его батарее, Ермолов отвечал: „Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноволосых“. И подпустив врага на пятьдесят шагов, ударил картечью и обратил его в бегство.

Боевая деятельность Ермолова нашла высокую оценку у Багратиона, Раевского и других передовых генералов русской армии, по настоянию которых он был произведен в полковники. Ценили Ермолова и солдаты, — во время одного из сражений, увидев его батареи, выезжавшие на позицию, пехотинцы кричали: „Зря француз горячку порет, Ермолов за нас постоит!“ Однако неоднократные представления храброго артиллериста к чину генерал-майора оставались без утверждения, и на одном из смотров, вскоре после окончания войны, произошло новое столкновение с Аракчеевым, наговорившим Ермолову таких несправедливых замечаний и грубостей, что полковник решил подать в отставку. Но оказалось, что, наслышавшийся о подвигах Ермолова, Александр I пожелал удержать его на службе. Вслед затем Аракчеев, переменяя свое отношение, сам ходатайствовал о производстве Ермолова в генералы.

В начале войны 1812 года он был назначен начальником штаба I армии Барклая-де-Толли. Несмотря на то, что с этим генералом у него были холодные, чисто служебные отношения, а с командовавшим II армией, Багратионом, — самые дружеские, Ермолов делал все возможное, чтобы сгладить постоянные взаимные недовольствия неладивших между собою командующих, смягчать шероховатости в переписке и т. п. В докладах Барклаю он передавал резкие и дерзкие отзывы Баг-

ратииона в „выражениях самых обязательных“, а в письмах Багратиону холодность и грубость Барклая представлял в „видах приятных“. В результате Багратион писал Ермолову, что он не ожидал найти в Барклае столько хорошего, как нашел, а Барклай говорил, что он „не думал, чтобы с Багратионом можно было так легко служить“.

В Бородинском сражении, будучи послан Кутузовым после ранения Багратиона на левый фланг, Ермолов по своей инициативе организовал блестящую контр-атаку русской пехоты и артиллерии на занятый было французами редут Раевского, отбил его и оборонял этот тактический ключ русской позиции вплоть до момента, когда был тяжело контужен.

В 1813 г. Ермолов прославился в сражении под Кульмом, где, приняв командование от раненого генерала Остерман-Толстого, одержал победу и решил исход всей кампании. В 1814 г. получил командование гвардейским корпусом, с ним участвовал во взятии Парижа, за которое награжден орденом Георгия 2-й степени.

После войны Ермолов был рекомендован Александру I Аракчеевым на должность военного министра, но в 1816 г. получил иное назначение — главнокомандующим в Грузии. На Кавказе выказал в войне с горцами холодный и точный расчет, порой — большую жестокость, но выгодно отличался от своих предшественников и последующих командующих на Кавказе неизменной подлинной заботой о солдатах своего корпуса. Ермолов запретил изнурять войска фронтowymi учениями, увеличил мясную и винную порцию, разрешил носить полушубки вместо шинелей, папахи вместо неудобных тяжелых киверов, а вместо громоздких ранцев — холщевые мешки и т. п. Деятельно занимался устройством удобных штаб-квартир, госпиталей и лечебных заведений в Кисловодске и Железноводске, посещавшихся тогда преимущественно лицами, служившими на Кавказе. При нем же начаты

систематические работы по прокладке дорог (Военно-Грузинской и других) и разработка полезных ископаемых.

Ермолов, несомненно, обладал административным талантом, умением подбирать людей, пользовался огромной популярностью среди подчиненных, был чрезвычайно экономен в расходовании казенных средств, совершенно чужд корыстолюбию. И несмотря на все это, он был смещен в 1826 г. новым царем Николаем I, не доверявшим генералу, которого подозревали в связях с декабристами и даже в том, что на Кавказе существовало с его ведома тайное политическое общество. Первое подозрение имело некоторые основания. Преувеличивая оппозиционные настроения Ермолова, члены Северного Тайного общества назначили его в состав временного правительства, которое собирались создать после свержения самодержавия.

Отметим, что Ермолов, получив в декабре 1825 г. приказ об аресте служившего при нем А. С. Грибоедова, предупредил знаменитого драматурга о готовящейся грозе, что дало ему возможность уничтожить компрометирующие документы. Иначе Грибоедов, вероятно, был бы осужден по делу декабристов, так как с некоторыми из них был тесно связан.

Кроме того, Николай I не мог простить Ермолову самостоятельности суждений, постоянных критических замечаний о прусской военной системе и язвительных острот по адресу многих видных деятелей его империи.

Рассказывая о зарождении этой антипатии Николая I к Ермолову, Д. В. Давыдов приводит следующий эпизод, весьма характерный для обоих интересующих нас действующих лиц. Давыдов пишет: „Ермолов никогда не пользовался благоволением императора Николая Павловича, почитавшего его человеком опасным по либеральному образу мыслей. Он возымел это мнение

с самого 1815 г. При вступлении в Париж одной дивизии корпуса, которым командовал Ермолов, император Александр остался недоволен фронтовым образованием одного из полков, вследствие чего последовало повеление посадить трех штаб-офицеров на гауптвахту, занятую в тот день английскими войсками. Ермолов горячо заступился за них, говоря, что если они заслуживают наказания, то их приличнее арестовать в собственных казармах, но не следует срамить трех храбрых штаб-офицеров в глазах чужеземцев; «таким образом нельзя приобрести любви и расположения войск», — сказал он. Государь остался непреклонен. Ермолов, не исполнив высочайшего повеления, отправился в театр, куда прибыл адъютант кн. П. М. Волконского, Чебышев, — с приказом тотчас арестовать виновных. Встретив там вел. кн. Николая Павловича, Ермолов сказал ему: «Я имел несчастье подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь, но он не должен ронять храбрую армию в глазах чужеземцев. Гренадеры прибыли сюда не для парадов, но для спасения Отечества и Европы». Слова эти, столь неблагоприятно отразившиеся для Ермолова через 10 лет, были, вероятно, переданы государю, потому что он приказал приготовить в занимаемом им дворце *Elysée Bourbon* три кровати для арестованных. Вел. кн. Николай Павлович сказал однажды покойному императору, что этот самостоятельный и энергичный наместник на границе государства весьма неблагонадежен...“

Удаление с Кавказа Ермолова, достигшего всего 49 лет и бывшего в полном расцвете способностей, произвело большое впечатление на русское общество, в котором он был очень популярен. Даже осторожный И. А. Крылов отозвался на это событие баснями „Конь“ и „Булат“. В первой из них он рассказывал о прекрасном, испытанном боевом коне, который достался

Наезднику, да на беду — плохому.  
Тот приказал его в конюшню свести,  
И там, на привязи, давать и пить и есть...

А во второй басне повествовал о булатном клинке, заброшенном под лавку крестьянской избы, где с ним заговаривает сосед-ёж:

„В руках бы война врагам я был ужасен“,  
Булат отвечает: „а здесь мой дар напрасен;  
Так, низким лишь трудом я занят здесь в дому:  
Но разве я свободен?  
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,  
Кто не умел понять, к чему я годен“.

Состоя в отставке, Ермолов прожил 35 лет в Орле и в Москве в вынужденном бездействии. Единственный раз, когда ему было предложено вновь вступить на службу, став во главе военного аудиториата, т. е. военно-судебной части армии, он ответил: „Единым своим утешением считаю любовь войск, и наказителем их быть не могу“.

Ермолов был известен своими остротами. Рассказывали, что на вопрос Александра I, чем можно его наградить, он ответил просьбой „произвести в немцы“, намекая на множество бездарных генералов немецкого происхождения, занимавших видные должности в армии. На вопрос о том, каков в бою некий генерал, Ермолов ответил одним словом: „Застенчив“.

Решительно осуждая фронттовую муштру, введенную в армии после войны 1812—1814 гг., Ермолов постоянно ее высмеивал. Однажды в Варшаве вел. кн. Константин показывал Ермолову батальон гвардейской пехоты, обмундированной по новому образцу. Люди замерли в строю, туго затянутые в узкие мундиры с высочайшими воротниками, накрепко перетянутые перевязями и кушаками, в обтяжных узких панталонах. При вопросе Константина, как нравится генералу новое обмундирование, Ермолов уронил перчатку и приказал ближайшему сол-

дату поднять ее. Как ни силился несчастный гренадер нагнуться к земле, он не смог сделать этого, так был стеснен в движениях одеждой и аммуницией. — „Не беспокойся, голубчик“, — сказал Ермолов, сам подымая перчатку. И обратился к Константину: „Отменно красивая и удобная форма, ваше высочество“.

Портрет Ермолова, находящийся в Галерее, не требует оценки после сказанного Пушкиным в „Путешествии в Арзрум“.

#### И. Ф. ПАСКЕВИЧ

Приехав 26 мая 1829 г. в Тифлис, Пушкин узнал, что Нижегородский драгунский полк, которым командовал его друг Н. Н. Раевский-младший и в котором служил его брат, Лев Сергеевич, незадолго до этого выступил в поход против турок. Для поездки в армию нужно было разрешение командовавшего ею генерала-от-инфантерии, Ивана Федоровича Паскевича.<sup>1</sup> Пушкин просил о нем и, получив позволение, 10 июня выехал из Тифлиса к Карсу. 13 июня поэт догнал войска на берегу Карс-чая, был любезно принят Паскевичем и двинулся далее с армией. Естественно, что Пушкина влекло не к обществу главнокомандующего и ближайших чинов его штаба, а к общению с подлинно близкими ему людьми: Н. Н. Раевским, товарищем по Лицею полковником В. Д. Вальховским и со ссыльными декабристами, М. И. Пушциным и З. Г. Чернышевым, разжалованными в солдаты и служившими в войсках Паскевича. С этими лицами и их боевыми товарищами Пушкин проводил вечера на стоянках, в политических и литературных разговорах, непринужденной, дружеской болтовне и шутках. А при всяком удобном случае ввязывался в стычку с врагом, испытывая свою храбрость и неведомые доселе ощущения боя. Не раз

<sup>1</sup> Портрет Паскевича — направо от Александра I, в нижнем ряду.



И. Ф. Паскевич (1782—1856)



Раевскому приходилось посылать вдогонку за поэтом опытных офицеров, с трудом настигавших Пушкина в передовой цепи казаков и драгун, готового к сшибке с турецкими наездниками.

В „Путешествии в Арзрум“, рассказывая о лагерной жизни и дав живую и яркую картину кавалерийских атак, поэт скромно умалчивает о своем в них участии и о том, как один раз скакал с донесением Раевского к главнокомандующему.

Под впечатлением виденного в стычке 14 июня, Пушкин еще до отъезда с Кавказа написал стихотворение „Делибаш“:<sup>1</sup>

Перестрелка за холмами,  
Смотрит лагерь их и наш,  
На холме пред казаками  
Вьется красный делибаш.  
„Делибаш! не суйся к лаве,<sup>2</sup>  
Пожалей свое житье;  
Вмиг — аминь лихой забаве:  
Попадешься на копьё...“

Давая Пушкину разрешение прибыть в армию, Паскевич, несомненно, надеялся, что поэт войдет в число его приближенных и впоследствии прославит его подвиги в своих стихах. Первые дни Паскевич был с Пушкиным весьма любезен и всячески привлекал его в кружок своего штаба, приглашал обедать, советовал находиться при нем во время боя и т. д. Но поэт явно предпочитал общество, окружавшее Раевского. Это и послужило вскоре причиной охлаждения Паскевича к поэту, за которым, к тому же, и здесь был установлен, по приказу Бенкендорфа, секретный надзор, о чем прежде всех узнал, конечно, главнокомандующий. 21 июля, по прямому указанию Паскевича, Пушкин покинул его армию, пробыв в ней всего около пяти недель.

<sup>1</sup> Делибаш — удалец, лихой наездник.

<sup>2</sup> Лава — рассыпной строй казаков при атаке.

Вот как рассказывает об этом один из офицеров, участников похода 1828 года: „Главкомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал его к себе в палатку (во время доклада бумаг Вальховским) и резко объявил: «Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Вальховский передавал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями; и в тот же день уехал. Вальховский передавал мне под секретом еще то, что одной из главных причин недовольствия главнокомандующего были нередкие свидания Пушкина с некоторыми из декабристов, находившихся в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться“.

Несомненно, однако, что отношения между главнокомандующим и поэтом остались внешне приятными. На прощанье Паскевич подарил Пушкину турецкую саблю. Эта любезность, по всей вероятности, должна быть расценена как некий „аванс“ за предполагаемые хвалебные строки.

Их же ожидали и многие другие современники. Об этом извещали в „Тифлисских ведомостях“ при отъезде Пушкина в армию, а по возвращении поэта в Петербург Ф. Булгарин писал в своей „Северной пчеле“: „Александр Сергеевич Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блестящем поприще побед и торжеств русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для русского. Многие почитатели его музы надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением, вдохновенным

под тенью шатров, ввиду неприступных гор и твердынь, на которых могучая рука Эриванского героя водрузила русские знамена“.

Но эти надежды были напрасны. Пушкин не вдохновился военной славой Паскевича. В напечатанном лишь в 1836 г. „Путешествии в Арзрум“ он весьма сдержанно говорит об этом полководце. А в предисловии дает резкую отповедь Булгарину в следующих словах: „Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудой: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой—слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело...“

Чрезвычайно сдержанно отозвался Пушкин на „победы“ Паскевича и в 1831 г. Расценивая тогда же его действия в сложных условиях европейской политики, поэт в одном из писем отметил, что „граф Паскевич удивительно счастлив“.

Паскевич не простил поэту этой холодности и после его смерти. 19 февраля 1837 г. он писал Николаю I: „Жаль Пушкина как литератора, в то время когда талант его созрел, но человек он был дурной“.

Паскевич принадлежал к числу молодых генералов времени Отечественной войны 1812 года. В юности был пажем Павла I и флигель-адъютантом Александра. Боевую службу начал в турецкую войну 1807—1811 гг. участием в ряде сражений, за которые произведен в полковники и в генерал-майоры и награжден орденом Георгия 4-й степени. В начале войны 1812 года командовал 26-й пехотной дивизией, входившей в состав корпуса Раевского, во главе которой мужественно сражался при Салтановке, Смоленске, Бородине, Малоярославце и Вязьме. Участвовал в ряде боев кампании 1813 г. и отличился под Лейпцигом, за что произведен в генерал-лей-

тенанты, всего на 32-м году жизни. В 1814 г. в Париже Александр I представил Паскевича своему брату, Николаю, как одного из „лучших генералов русской армии“. В 1817 г. он был избран сопровождать в заграничном путешествии другого брата царя, Михаила, а в 1821 г. назначен командовать гвардейской пехотной дивизией, в которой бригадными командирами состояли великие князья Николай и Михаил. Поэтому, уже будучи царем, Николай постоянно именовал Паскевича своим „отцом-командиром“.

Проявлением особого доверия к Паскевичу было назначение его в 1826 г. командовать армией, действовавшей против персов с формальным подчинением Ермолову, но с тайным приказом заменить его, если Паскевич найдет это нужным. Самое поручение Паскевичу руководить войсками при наличии на Кавказе до того долго командовавшего ими Ермолова, несомненно более опытного, талантливого и старшего в чине, ставило последнего перед очевидной необходимостью уйти с дороги царского любимца. В конце 1826 г. Ермолов просил об отставке, „не имев счастья заслужить доверенность“ Николая, и, конечно, был уволен.

Для улажения недоразумений между командующими Николаем I был послан на Кавказ Дибич, говоривший при возвращении встреченному в Пятигорске ген. Сабанееву: „Я нашел край в блистательном порядке и войско, одушевленное духом Суворова. Паскевичу будет легко одерживать победы“. Действительно, кампания 1827 г. велась Паскевичем по плану, выработанному Ермоловым и во главе войск, им подготовленных в течение девяти лет командования. Военные действия были успешны, но не выказали особого дарования Паскевича. За поражение персов он был награжден титулом графа Эриванского и миллионом рублей.

В войне 1829 года с Турцией Паскевич проявил быстроту и решительность. Эта кампания — наиболее удачное из

всех боевых его дел. Успех доставил Паскевичу чин генерал-фельдмаршала и другие щедрые награды. Управление Кавказом в последующие годы выказало большую разницу административного дарования между Паскевичем и Ермоловым не в пользу нового наместника.

Заменив в 1831 г. Дибича, Паскевич командовал армией, подавлявшей восстание поляков против царизма и, вслед затем руководил расправой над побежденными, за что и получил от обрадованного Николая I среди других наград титул „светлейшего князя Варшавского“.

Паскевич не обладал широким кругозором политического и государственного деятеля. По свидетельству современников, он был малообразован, не любил и не умел систематически выражать свои мысли, — все донесения в Петербург с Кавказа в 1826 г. писал состоявший при главнокомандующем А. С. Грибоедов. В обращении с подчиненными отличался грубостью. В записках известного в свое время хирурга Д. К. Тарасова говорится, что он отказался от заманчивого места штаб-доктора отдельного Кавказского корпуса „ввиду особого рода обхождения генерала Паскевича с подчиненными“. Ближайшее окружение Паскевича составляли льстецы, наушники и ничтожества. Это происходило прежде всего от мелкости и завистливости натуры самого главнокомандующего, не переносившего рядом с собой людей способных и самостоятельных, которым, он знал, могут приписать часть его полководческой славы. Именно таковы были его отношения к товарищу Пушкина по Лицею, В. Д. Вальховскому, талантливому и образованному офицеру, состоявшему обер-квартирмейстером Кавказской армии и, несомненно, во многом содействовавшему победам 1826—1828 гг., но затем подвергнутому настойчивым преследованиям Паскевича. Уйдя с Кавказа, Вальховский за отличие был произведен в генерал-майоры, но в 1831 г. вновь попал под начальство мсти-

тельного Паскевича, продолжавшего его преследовать, и должен был перевестись обратно на Кавказ, где в течение ряда лет состоял начальником штаба корпуса.

Таковы же в общих чертах отношения Паскевича с Н. Н. Раевским-младшим, командовавшим во время войны 1828 г. отрядом кавалерии и ярко выделившимся среди других генералов своим военным дарованием и самостоятельностью. Это вызвало зависть и недоверие главнокомандующего, и вскоре Раевский был обвинен в „предосудительных“ сношениях с сосланными на Кавказ декабристами, отстранен от должности и, по желанию Паскевича, уволен в отставку.

Число лиц, к которым Паскевич проявил мелочную зависть и мстительность, отнюдь не ограничивалось этими двумя примерами. Так же обошелся он со своим начальником штаба, молодым генералом Д. Е. Остен-Сакеном, и с декабристом М. И. Пушиным, сосланным на Кавказ солдатом, быстро выдвинувшимся здесь своими военными знаниями и инициативой, произведенным в офицеры и занявшим видное место в штабе Паскевича. По окончании военных действий Пушкин уезжал на Кавказские Минеральные воды лечиться после ранений и зашел в палатку преследуемого Паскевичем Остен-Сакена, чтобы с ним попрощаться. Такого проявления простой вежливости было достаточно, чтобы узнавший об этом Паскевич забыл все сделанное Пушиным и откомандировал его от своего штаба, подвергнув ряду незаслуженных обид.

#### Д. В. ГОЛИЦЫН

В 1820 г. Московским генерал-губернатором был назначен генерал-от-кавалерии князь Димитрий Владимирович Голицын.<sup>1</sup> Постоянно бывая в Москве с осени

<sup>1</sup> Портрет Голицына — налево от портрета Паскевича.

1826 года, Пушкин, несомненно, был знаком с Голицыным и не раз посещал блестящие балы, дававшиеся в его дворце. На одном из праздников, устроенных генерал-губернатором 30 декабря 1829 г., во время живых картин присутствовавших особенно поразила красота юной Н. Н. Гончаровой, изображавшей Дидону. Пушкина в это время не было в Москве, и Вяземский писал ему 2 января 1830 г.: „Что-за картина была в картинах Гончарова!“ Вероятно, в это же время впервые отметил редкую красоту будущей жены поэта и находившийся в Москве Николай I.

Вяземский знал о чувстве своего друга к Гончаровой (которая, как и ее властная мать, не изъявляла к поэту особой симпатии) и вскоре на балу у того же Голицына поручил общему их с Пушкиным знакомому, Лужину, танцовавшему с красавицей, мимоходом заговорить с нею и ее матерью об отсутствующем влюбленном, чтобы узнать, как относятся к нему Гончаровы. Ответом были несколько вопросов о Пушкине и поручение Наталии Николаевны и ее матери передать поэту поклон. Тот же Лужин, отправившись через несколько дней в Петербург и встретясь у Карамзиных с Пушкиным, пересказал ему слова Гончаровых. Приехав вслед за этим в Москву, поэт возобновил свои искания, закончившиеся женитьбой.

Об этом, столь знаменательном для него эпизоде, происшедшем на балу у Голицына, Пушкин упоминал в письме от 5 апреля к будущей теще, написанном накануне его помолвки и передающем основные этапы его увлечения и отношений к нему Гончаровых.

Оказавшись осенью 1830 г. запертым в Болдине холерными карантинами, Пушкин неоднократно пытался проехать оттуда в Москву и при третьей попытке был задержан в селе Платава, всего в 72 верстах от Москвы, откуда писал своей невесте 2 декабря: „Умоляя вас сообщить князю Дмитрию Голицыну о случившемся со

мною несчастном происшествии, упросив его употребить все свое влияние для моего въезда в Москву“. Через три дня Пушкин был уже в Москве, может быть не без участия Голицына.

Наконец, 22 февраля 1831 г., вскоре после своей свадьбы, Пушкин с молодой женой присутствовал на благотворительном маскараде в Большом театре. Во время ужина Голицын подходил к столику, за которым сидели Пушкины, Долгорукие и Булгаковы, и беседовал с ними об удачном вечере.

Но помимо этих весьма незначительных точек соприкосновения с жизнью поэта, Д. В. Голицын интересен для нас как сын „Пиковой Дамы“. Его мать, княгиня Наталия Петровна, послужила Пушкину прототипом старой графини Анны Федотовны в гениальной повести, написанной в 1833 г. В записи дневника Пушкина от 7 апреля 1834 г. читаем: „Моя Пиковая Дама в большой моде — игроки понтируют с тройки, семерки и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Наталией Петровной и кажется не сердятся“.

Н. П. Голицына являлась одной из самых примечательных фигур великосветского Петербурга времени Пушкина. В молодости она много путешествовала, долго жила в Париже, будучи очень хорошо принята при дворе Людовика XVI, и выехала из Франции незадолго до революции. В Петербурге Голицыной принадлежал доныне сохранившийся дом на углу Гороховой и Большой Морской (ул. Герцена), так живо и точно описанный Пушкиным в „Пиковой Даме“. Умная, энергичная и властная, в старости — очень некрасивая (за бороду и усы ее прозвали „Princesse-Moustache“),<sup>1</sup> Голицына создала себе такое исключительно почетное положение, что ей оказывали особое внимание цари Павел, Александр и

<sup>1</sup> „Княгиня-Усач“.



Д. В. Голицын (1771—1844)



Николай. По словам ее биографа, „ее уважало и с нею считалось все высшее общество обеих столиц, считавшее за честь бывать у нее в доме. В высшей степени свое- нравная, она властвовала в свете, всеми признанная; к ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать; гвардейский офицер, только что надевший эполеты, являлся к ней как по начальству. Будучи очень преклонных лет, она считала всех молодежью, — поэтому все высоко ценили малейшее ее внимание, но зато мало кто ее не боялся. Семья вся трепетала перед княгиней, с детьми она была очень строга — даже тогда, когда они уже давно пережили свою молодость“. 50-летний сын ее, московский генерал-губернатор, — один из первых сановников империи, — не смел садиться при матери без особого ее приглашения.

Умерла Н. П. Голицына 97 лет, 20 декабря 1837 г., почти на год пережив Пушкина.

Д. В. Голицын получил образование в Страсбургской военной академии, после чего провел несколько лет в Париже, где „блистала“ в это время его мать. Среди вечно праздничной жизни Версальского двора, Голицын не прекращал занятий военными вопросами и напечатал в Париже пространные замечания на сочинение римского военного писателя Вегеция. Возвратясь в Россию, Голицын принял деятельное участие в ряде войн, начиная с 1794 г., быстро двигаясь по службе как благодаря своим личным качествам, так не менее, благодаря родо-витости и связям. В 1800 г., 29 лет, он был уже генерал-лейтенантом.

Почетную известность заслужил Голицын в бою под Голымином 14 декабря 1806 г., когда, командуя отрядом из 8 пехотных и 3 кавалерийских полков с 18 орудиями, выдерживал в течение целого дня упорную атаку войск маршалов Мюрата, Даву и Ожеро, руководимых самим Наполеоном. В сражениях при Прейсиш-Эйлау,

Фридланде и других много раз водил в атаку свои части. С отличием участвовал в войне против шведов в 1808 г. и задумал, по собственной инициативе, переход по льду через Ботнический залив в Швецию. Обиженный тем, что не ему, а Барклаю-де-Толли доверили руководство этой одновременно разработанной в Петербурге операцией, — Голицын вышел в отставку весной 1809 г. Вновь вступил на службу только в августе 1812 г. после назначения главнокомандующим Кутузова, которым был поставлен во главе кирасирского корпуса из двух дивизий. Предводительствуя ими, бился при Шевардине и под Бородиным. Участвовал в кампаниях 1813—1814 гг., а после войны командовал крупными соединениями войск, вплоть до 1820 года, когда был назначен Московским генерал-губернатором. Москва после пожара 1812 года лежала еще в развалинах, и Голицын проявил много энергии при восстановлении древней столицы России.

## О ТЕХ, КОГО ЛИЧНО НЕ ЗНАЛ ПУШКИН

Как мы видели, Пушкину в течение его жизни пришлось общаться со значительным числом генералов — участников войны 1812 года, и на первый взгляд может показаться странным, что столь многие из них относились равнодушно или неприязненно к великому поэту, видели в нем только вредного вольнодумца, не понимали его огромного значения, не ценили в нем носителя славы нашей родины. Трудно связать со всем этим наше высокое представление о вождях-героях Отечественной войны, самоотверженных бойцах за русскую национальную независимость, для которых особенно близким должно было являться все клонившееся к славе русского имени. Однако надо помнить, что едва ли не большинство из тех, кого лично знал Пушкин, т. е. Лева-

шев, Керн, Дибич, Бенкендорф, Закревский, Паскевич: в 1812 году играли только вторые и третьи роли, занимали отнюдь не ведущее положение. И тогда многие из них были расчетливыми карьеристами, случайными людьми в великом деле национального патриотического подъема, стремившимися всеми средствами выслужиться, оказаться на виду, получить чин, орден, „заслужить монаршее благоволение“. А один из лично известных Пушкину, граф Витт, ухитрился даже прослужить два года под знаменами Наполеона, неизменного врага России.

Не эти люди творили вечную славу Отечественной войны. Ее подлинно-руководящими деятелями, талантливыми последователями славной школы Суворова и достойными помощниками Кутузова были Багратион, Барклай, Дохтуров, Коновницын, Раевский, Остерман-Толстой, Неверовский, Платов, Ермолов, Багговут, братья Тучковы, Кульнев, Дорохов, Давыдов<sup>1</sup> и другие.

Главными отличительными чертами большинства этих генералов было полное отсутствие карьерных стремлений, придворной искательности, личной корысти и, наряду с этим, — глубокая вера в русский народ, в его силу, гуманное и бережное отношение к подчиненным. Каждый из этих генералов опирался на массы веривших в него, знавших его по прошлым кампаниям и почитавших, не только по уставной субординации, солдат и офицеров, упорно, искусно и самоотверженно сражавшихся под стенами Смоленска, на полях Бородина, Тарутина и Малоярославца, на берегах Березины, — везде, где решалась судьба России и напавшей на нее наполеоновской Франции.

В 1820—1830-х годах, к которым относится творческий расцвет Пушкина, почти все представители этой славной

<sup>1</sup> Портреты почти всех перечисленных здесь генералов расположены около портретов Кутузова и Барклая-де-Толли.

плеяды военачальников уже сошли с военно-политического поприща. Многие были убиты в боях, другие умерли в ближайшие годы после войны, третьи дожили в отставке свой век — „никли в тишине главою лавровой“, наконец — четвертым, еще не старым и полным энергии, не было места в военной системе Николая I.

Новому императору не нужны были люди подобного типа, слишком самостоятельно думавшие и действовавшие. Ведь именно к ним принадлежало и все старшее поколение декабристов. После 1825 г. таким генералам и офицерам в армии не было места, или по крайней мере не было хода, так же как заслуженным боевым офицерам. Один из современников, отмечая это явление, начавшееся еще в последние годы царствования Александра, писал: „Войну забыли, как будто ее никогда не было, и военные качества заменились экзерцирмейстерской ловкостью“. Заслуженных офицеров выживали со службы и „наши георгиевские кавалеры пошли в отставку и очутились винными приставами“. Но зато в военно-бюрократической машине Николая ведущее положение прочно заняли Бенкендорф, Паскевич, Левашев, Чернышев, Толь, Дибич, Витт, Клейнмихель и подобные им личности, ничем не связанные с солдатами, с народом, давно забывшие о том времени общерусского патриотического подъема и бранных трудов 1812 года, в котором им посчастливилось когда-то принять участие и отблеск которого возвышал их в глазах современников и потомков.

Пушкин превосходно понимал эту типичную для времени Николая I расстановку сил. Великий поэт относился с неизменным интересом и глубоким уважением к лично известным ему представителям сошедшей со сцены группы генералов-патриотов: Н. Н. Раевскому-старшему, С. Г. Волконскому, Д. В. Давыдову, А. П. Ермолову. Эти люди были во многом духовно ему близки. И столь же естественно из мировоззрения Пушкина

вытекало презрение, а порой и ненависть к тем генералам-бюрократам, которых он встречал в раззолоченных покоях дворцов или в министерских канцеляриях. Именно к ушедшему, старшему поколению подлинных „начальников народных наших сил“, обращался великий поэт во вступительной части стихотворения „Полководец“, им отдавал он лавры „вечной памяти Двенадцатого года“, так неизменно, так живо интересовавшего его всю жизнь.

И хотя Пушкин лично знал и близко наблюдал только тех, о ком мы говорили выше,<sup>1</sup> хотя в своих сочинениях он дал оценку только двум крупнейшим из уже умерших военачальников — Кутузову и Барклаю, но можно с уверенностью сказать, что многие наиболее заметные деятели 1812 года, портреты которых он видел в Галерее, были хорошо известны великому поэту, как по их внешнему облику, так и по роли в Отечественной войне.

К таким лицам принадлежал прежде всего генерал-от-инфантерии князь Петр Иванович Багратион, герой 20 походов и войн, участник 150 сражений и боев. Имя его впервые прославилось во время знаменитых Итальянской и Швейцарской кампаний Суворова 1799 года, в которых Багратион был почти бессменным начальником русского авангарда при наступлении и аррьергарда — при отходе. В 1805—1807 гг. Багратион играл ведущую роль в первых войнах с Наполеоном, выполняя наиболее трудные задачи, как, например, задержание французов у Шенграбена.<sup>2</sup> В 1808 г. Багратион одержал ряд побед над шведами, а в 1809 г., будучи главнокомандующим Молдавской армией, взял одну за другой пять

<sup>1</sup> Отметим, что в нашей книге мы не останавливались на отношениях Пушкина с Н. Г. Репниным, А. И. Чернышевым, К. Ф. Ламбертом, В. С. Трубецким, Л. А. Нарышкиным и А. Д. Балашевым, так как эти отношения носили случайный характер и не представляют историко-биографического интереса.

<sup>2</sup> См. выше, стр. 29.

турецких крепостей и разбил врага под Рассеватом и Татарицей. Боевым девизом Багратиона было: „Искать врага и бить“. Быстрота его движения и энергия при нападении, по мнению современников, уступали только суворовским.

Наполеон хорошо знал эти качества Багратиона и называл его „лучшим генералом русской армии“.

В 1812 году Багратион командовал 2-й армией, во главе которой с боями шел на соединение с войсками Баркляя, искусными маневрами обманывая и отражая превосходивших его числом преследователей — корпуса Даву, Понятовского и Мортье. Долгожданное генеральное сражение под Бородиным было праздником для Багратиона. Руководя в нем действиями левого фланга, на который были направлены главные силы врага, Багратион много раз лично водил войска в контр-атаки, отражая попытки французов завладеть укреплениями у дер. Семеновское (так наз. „Багратионовыми флешами“). Здесь около полудня генерал получил тяжелое ранение в левую ногу, но не хотел оставить поле битвы, пока не узнал результатов начатой по его приказу атаки кирасир. Только потеряв сознание, он был унесен в тыл. Находясь на излечении во Владимирской губернии и узнав об оставлении Москвы русскими войсками, пылкий Багратион, как рассказывали современники, в порыве отчаяния сорвал с ноги повязки, что привело его к смерти 12/24 сентября.

Портрет Багратиона, исполненный с неизвестного нам оригинала, прекрасно передает восточный тип его лица и твердое, мужественное выражение, свойственное этому любимому соратнику Суворова и Кутузова, пользовавшемуся исключительной популярностью среди солдат, называвших его „наш орел“. В армии и в обществе ходило много рассказов об удивительной храбрости и хладнокровии Багратиона. Конечно, слышал их и Пушкин, хотя бы от своего друга Д. В. Давыдова. Напом-

ним, что один из таких рассказов поэт внес в свои „Застольные разговоры“.<sup>1</sup>

Несомненно, Пушкину были также известны основные факты деятельности в 1812 году генерала-от-инфантерии Петра Петровича Коновницына. Доблестный участник многих войн, начиная с 1788 г., Коновницын в начале Отечественной войны командовал 3-й пехотной дивизией, с которой стойко бился при Островне, Смоленске, Лубине, а последнюю неделю перед Бородинским сражением командовал арьергардом армии, сдерживая рвавшихся к Москве французов. Под Бородиным Коновницын принял от раненого Багратиона командование левым флангом русских войск и руководил ими до прибытия генерала Дохтурова, посланного Кутузовым на смену Багратиону.<sup>2</sup> В этот день Коновницын получил две тяжких контузии, но остался в строю.

Будучи назначен Кутузовым на ответственный пост дежурного генерала всех русских армий, он проявил исключительную, неутомимую деятельность, уже на походе начав переформирование и укомплектование расстроенных боями полков, заверщенное в лагере у Тарутина. В дальнейших событиях войны Коновницын принимал активное участие. В критический момент сражения под Малоярославцем Кутузов сказал ему: „Петр Петрович, ты знаешь как я тебя берегу и всегда упрямлю не кидаться в огонь, но теперь прошу — очисти город“. И Коновницын во главе 3-й пехотной дивизии выбил штыками французов из Малоярославца. Под Вязьмой и Красным он от имени Кутузова отдавал приказание войскам, развезжая под жестоким огнем, как всегда в бою — с длинной трубкой в зубах и нагайкой в руке.

<sup>1</sup> См. выше, стр. 54.

<sup>2</sup> Момент передачи Багратионом командования Коновницыну является центральным эпизодом картины П. Хесса, находящейся в конце Военной галереи, близ дверей в Предцерковную.

В 1815 г. Коновницын был назначен военным министром, а с 1819 г. — главным директором всех кадетских корпусов и Царскосельского лицея, проявив редкую для своего времени гуманность и внимание к вопросам образования и воспитания. На этом посту Коновницын умер в 1822 г.

Пушкин, неизменно интересовавшийся всем, что касалось Царскосельского лицея знал, вероятно, и об этой последней форме деятельности доблестного сподвижника Кутузова.

Также знаком был поэту внешний облик и редкие боевые качества легендарного атамана донских казаков, генерала-от-кавалерии Матвея Ивановича Платова. В стихотворении Жуковского „Певец во стане русских воинов“, пользовавшемся чрезвычайной популярностью в лицейские годы Пушкина, одна из лучших строф посвящена Платову:

Хвала, наш вихорь-атаман,  
Вождь невредимых, Платов!  
Твой заколдованный аркан —  
Гроза для супостатов.  
Орлом шумишь по облакам,  
По полю волком рыдешь,  
Летаешь страхом в тыл врагам,  
Бедой им в уши свищешь;  
Они лишь к лесу — ожил лес,  
Деревья сыплют стрелы;  
Они лишь к мосту — мост исчез,  
Лишь к селам — пышут селы...

Начав службу урядником (унтер-офицером), Платов своей исключительной храбростью и военным талантом добился высших чинов и знаков отличия. Участник и герой почти всех войн России с 1778 г. по 1814 г., он в начале Отечественной войны командовал летучим отрядом в 7000 всадников, во главе которого дважды нанес поражение неприятельской кавалерии, у Мира и у

Романова. После боя при Смоленске стал во главе русского арьергарда, который передал Коновницыну. В Бородинском сражении, по приказу Кутузова, Платов с казаками совместно с конницей Уварова, совершил блестящий рейд в тыл французской армии, заставивший Наполеона задержать решительный удар по центру русской позиции.

Огромной заслугой Платова во второй половине кампании являлось поднятое по его приказу и совершенное по его указаниям поголовное ополчение донцов, образовавших в Тарутинском лагере массу в 22 тысячи всадников, сыгравшую во время преследования отступавшей армии неприятеля ту роль, которую так мастерски описал Жуковский. Казаки, под командой своего атамана, захватили только в 1812 году свыше 50 тысяч пленных и 500 орудий и отбили множество ценностей, награбленных французами в Москве.

Один из самых прославленных героев-военачальников русской армии, Платов, в 1814 г. постоянно сопровождал Александру I в Париже и Лондоне. Появление его вызывало неизменные восторги толпы. Среди многих почестей этих дней было поднесение атаману городом Лондоном украшенной драгоценными камнями сабли и Оксфордским университетом — почетного диплома доктора наук. После войны Платов преданся мирной деятельности по благоустройству своего родного Донского войска. Под его руководством создавались школы, госпитали, расширялись конные заводы, обстраивался основанный им город Новочеркасск, в котором атаман и умер в 1818 г.

Здравиду за Платова Пушкин провозгласил в стихотворении „Пирующие студенты“, 1814 г., отражая тем популярность „Вихря-атамана“. Несомненно, его имя поэт слышал не раз и в те дни, когда в походе под Арзрум бывал среди казаков, свято чтивших память Платова.

Даже в богатой одаренными людьми среде русских полководцев начала XIX в. личность генерал-майора Якова Петровича Кульнева, героя войны с французами 1807 г. и со шведами 1808 г., выделялась своей оригинальностью и цельностью. Прослужив 24 года до чина полковника, Кульнев был особенно близок с солдатами и младшими офицерами, деля с ними не только опасности, но и самый простой образ жизни на походах и на мирных стоянках. Один из наиболее пылких последователей Суворова, Кульнев в своих приказах усвоил стиль великого полководца. В них читаем: „Обучать солдата надо не более трех часов в сутки, но должно знать, чему обучаешь“, „Сытость, чистота и опрятность есть источник здоровья солдата“, „Для пули нужен глаз, штыку требуется сила, а желудку — каша“.

Беспощадность в бою и заботливость к побежденным врагам, бывшие неизменными свойствами Кульнева, воспеты знаменитым шведским поэтом Рунебергом в его поэме „Рассказы прапорщика Столя“. Преданность Кульнева интересам службы и делу защиты родины проявились в его отказе от брака с любимой девушкой, потребовавшей, чтобы генерал вышел в отставку. Бескорыстный до крайности, он раздавал все, что получал, своим родным, товарищам-офицерам и солдатам.

В начале кампании 1812 года, командуя авангардом корпуса Витгенштейна, Кульнев нанес ряд жестоких ударов войскам маршала Удино, захватив в несколько дней более тысячи пленных. Вслед за этим удачно сражался под Вилькомиром, Друей и Головщиным, но в последнем бою, увлекшись преследованием врага, с незначительным отрядом атаковал главные силы французов. Во время отхода своих частей, находясь в цепи стрелков, генерал был смертельно ранен — неприятельское ядро раздробило ему обе ноги. Сорвав с себя ордена, умирающий герой передал их адъютанту со словами: „Возь-

мите, спрячьте... Пусть враг не порадуется, видя в охладевшем моем трупе не генерала российского, а простого солдата, положившего жизнь за Отечество". Однако Наполеон узнал о его гибели и писал в Париж, что „убит Кульнев, один из лучших русских кавалерийских генералов“.

Геройская кончина Кульнева была в числе самых любимых патриотических сюжетов картин и гравюр 1812—1820-х годов. Служивший под начальством Кульнева Д. В. Давыдов писал о его подвигах и, несомненно, рассказывал о нем Пушкину. Своеобразная наружность храброго генерала обратила на себя внимание поэта, — в повести „Дубровский“ он пишет, что при посещении небогатой помещицы Глобовой, его романтический герой был „смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, — сущий портрет Кульнева“.

Мы привели лишь несколько имен из числа генералов, деятельность которых была хорошо известна Пушкину. Нам хотелось напомнить читателю, что поэт, — современник Отечественной войны, бывая в Военной галерее, узнавал среди портретов мужественные лица тех, кто был ему дорог по прекрасным патриотическим воспоминаниям, тех, кто в 1812 году выказывал все величие русского духа, тех, о ком он с грустью писал во вступительной части стихотворения „Полководец“:

Из них уж многих нет...

### ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ

Помимо 332 изображений русских военачальников 1812 года, размещенных в Галерее, современный нам посетитель может ознакомиться в ней и с написанными Доу в 1828 г. четырьмя портретами чинов Роты дворцовых гренадер, особой воинской части, сформированной почти одновременно с созданием Военной галереи и тесно свя-

занной с войной 1812 года. Портреты эти сравнительно небольшого размера, с изображениями в полный рост. Два из них висят по сторонам дверей, ведущих в Предцерковную, и два, друг против друга, — между колонн около портретов Кутузова и вел. кн. Константина.

Бывая в Галерее, Пушкин не мог видеть этих портретов, — они тогда находились в Царскосельском Екатерининском дворце и лишь в Советское время внесены в Военную галерею, как дорогие нам изображения солдат, участников Отечественной войны, притом еще с дошедшими до нас именами, что особенно редко.

Но в Зимнем дворце великий поэт, несомненно, видел самих гренадер, служба которых неотрывно связывалась с дворцовыми помещениями, и очень вероятно, что не раз он проходил мимо стоявших на постах тех именно людей, чьи портреты мы теперь видим.

Рота дворцовых гренадер была сформирована „из нижних чинов гвардии, которые в Отечественную войну оказали свое мужество и во все продолжение их верной службы отличали себя усердием“, как написано в указе Николая I министру двора, кн. П. М. Волконскому, от 2 октября 1827 г. К 8 ноября комплектование Роты было уже закончено. В нее вошли 4 офицера, 16 унтер-офицеров, 2 барабанщика, 2 флейтщика и 98 гренадер, — всего 120 человек. Из этого общего числа, 69 были кавалерами знака отличия военного ордена (солдатского Георгия) и 84 — кавалерами знака отличия св. Анны, дававшегося за двадцать лет „беспорочной и ревностной службы“. Следовательно, 33 человека из состава роты имели и ту и другую награды, которыми в то время исчерпывалось все, чем мог быть отмечен самый храбрый и исправный солдат. 4 офицера Роты, также в прошлом солдаты, — все были кавалерами солдатского Георгия за Бородинское сражение. Таким образом, Рота дворцовых гренадер, будучи составлена исключительно из заслу-



**Гренадер И. Ямник**  
*Пушкинский кабинет ИРЛИ*





Гренадер И. Ямник (деталь портрета)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



женных ветеранов, являлась своеобразным живым памятником Отечественной войны 1812 года.

Одним из обязательных требований для приема в Роту был высокий рост, не менее 2 аршин 9 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> вершка (182 см). И когда через несколько лет при пополнении были приняты три особо заслуженных солдата 2-х арш. 7 вершков ростом, Николай I отдал строжайший приказ более не брать в дворцовые гренадеры „недомерков“, ни в коем случае не спускаясь ниже 2 аршин 9 вершков (181 см).

С первого дня своего существования Рота была обмундирована в созданную для нее особую, весьма нарядную форму — медвежьи шапки с золочеными налобниками и мундиры с алыми лацканами, шитые широким золотым галуном, которые можно видеть на портретах и на изображении Военной галереи до пожара 1837 г., работы Г. Г. Чернецова, находящемся между колонн, наискось от портрета Барклая. На этой картине можно видеть также сюртуки, в которые были одеты гренадеры вне строя.

Первую четверть века своего существования Рота размещалась в непосредственной близости ко дворцу, на территории теперешнего здания Эрмитажа, в уже упомянутом нами „Шепелевском доме“, выходящем на Миллионную улицу.

На дворцовых гренадер особым приказом — инструкцией 1827 года — возлагались обязанности по надзору „за порядком и опрятностью комнат и мебели в Зимнем дворце и в зданиях к оному принадлежащих; и чтобы сверх того присматривали не только в комнатах, но и в коридорах за всеми неизвестными или подозрительными людьми, дабы не могло быть никакого воровства“. Для этого ежедневно высылался Ротой наряд, занимавший 36 постов, на которых стояли без оружия, в сюртуках. В архиве Роты сохранилось немало документов, говорящих о пререканиях, а порой и ссорах старых „служивых“ с камер-лакеями и другой дворцовой прислугой, кото-

рой они делали замечания и наставления об уборке зал, натирке полов и т. д., согласно упомянутой выше инструкции.

Но помимо этих постоянных „мирных“ обязанностей, у гренадер существовали еще и другие. Рота считалась строевой частью, и притом старшей из всех воинских частей России. Сообразно с этим, хотя все чины ее были навсегда освобождены от строевых учений, которыми так допекали их во всю предыдущую службу,—они постоянно несли почетные караульные обязанности. Во время всевозможных празднеств во дворце,—приемов, торжественных богослужений, балов,—выставлялись два унтер-офицерских караула в Тронном и Концертном залах и три парных поста, в том числе в Военной галерее. Кроме того, два раза в год—25 декабря, в день ежегодного празднования изгнания французов из России, и 6 декабря— в Николин день, Рота в полном составе выстраивалась в Военной галерее и после парада проходила по ней строем, мимо портретов своих бывших командиров. Участвовали дворцовые гренадеры и в церемониях открытия памятников и на больших парадах войск, причем сообразно своему старшинству шли неизменно во главе частей гвардейского корпуса. Так было, например, летом 1834 г. при открытии Нарвских триумфальных ворот и, осенью того же года,—Александровской колонны.

Зная, данное Роте в 1830 г., с надписью „В воспоминание подвигов российской гвардии“, постоянно стояло в Военной галерее, справа от портрета Александра I. Почетным отличием являлось также право, данное барабанщикам только этой Роты при отдаче чести караулом, бить „поход“ даже в комнатах дворца.

Все состоявшие в Роте ветераны получали оклады жалованья и пенсии при отставке, которые во много раз превосходили существовавшие тогда для нижних чинов.



Капитан В. М. Лаврентьев  
*Пушкинский кабинет ИРЛИ*





Капитан В. М. Лаврентьев (деталь портрета)

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*



Рядовые гренaдeры приравнивались по окладам и правам к подпрапорщикам, а унтер-офицеры — к прапорщикам гвардии.

Во время пожара Зимнего дворца 1837 г. гренaдeры деятельно участвовали в спасении художественных ценностей, в частности портретов Военной галереи. При этом трое из них погибли в огне, а многие получили серьезные ожоги.

О трех изображенных Доу лицах, не имевших офицерского чина, известно немного.

О гренaдeре Илье Ямнике мы знаем только, что до поступления в Роту он служил в гвардейском Измайловском полку, участвовал во всех крупных сражениях войны 1812 года, за храбрость был награжден солдатским Георгием, а за беспорочную службу — знаком св. Анны.

На портрете он изображен на фоне белой стены одной из дворцовых зал. Сухое лицо старого солдата строго смотрит из-под огромной медвежьей шапки. Усы густо нафабрены и лихо закручены. Кисти рук крепко охватили ружье, опертое тяжелым прикладом о мраморный пол. Перед нами один из ветеранов — дворцовых гренaдeр, в полной караульной форме, как они стояли на часах во дворце.

Об унтер-офицере Егоре Етгорде (латыше по национальности) известно, что он 22 года служил в гвардейском Семеновском полку, отличился в ряде боев Отечественной войны и имел те же награды, что Ямник; Етгорд прослужил в Роте дворцовых гренaдeр более 20 лет, был произведен в фельдфебели и прапорщики той же части.

О барабанщике Василии Акентьеве знаем еще меньше; в Роту он был переведен из гвардейского Финляндского полка, участвовал в войне 1812 года и имел знак отличия св. Анны.

Зато о капитане Василии Михайловиче Лаврентьеве

известно несколько больше. Он начал службу в 1805 г. солдатом в Преображенском полку, в бою под Аустерлицем был тяжело ранен в грудь и поясницу картечью и замертво остался на поле сражения. Возвратившись в полк через год и продолжая строевую службу, Лаврентьев 1 января 1812 г. был произведен в унтер-офицеры. Он прошел невредимым кампании 1812—1813—1814 гг., участвовал в бесчисленных боях, за Бородино награжден солдатским Георгием. 21 февраля 1819 г. произведен в прапорщики, в 1820 г.—подпоручик, в 1825 г.—поручик, в 1827 г. переведен в Роту дворцовых гренадер и произведен в штабс-капитаны, в 1831 г.—в капитаны, в 1835 г.—в полковники. В этом чине Лаврентьев умер в 1843 г.

Изображен капитан Лаврентьев на фоне Военной галереи. Пропорционально сложенный, подтянутый и щеголеватый, он опирается на обнаженную саблю. Взятый по набору в Преображенской полк, — первый и самый почетный в русской гвардии, В. М. Лаврентьев был, как и все солдаты этого полка, очень высок ростом. Это видно на картине Г. Г. Чернецова, изображающей Военную галерею: в левой ее части стоит Лаврентьев, разговаривающий с барабанщиком, как и все дворцовые гренадеры, не меньше 182 см ростом, который, однако, на целую голову ниже капитана. В. М. Лаврентьев был одним из тех рослых молодцов и красавцев, которых со всей необъятной России собирали в гвардейские части.

На той же картине видны еще несколько гренадер и офицеров Роты, также, несомненно, написанных художником с натуры и портретно схожих. Но, к сожалению, имен этих героев Отечественной войны мы не знаем.

Глядя на портреты дворцовых гренадер, мы прежде всего должны вспомнить, что это — рядовые представители того доблестного русского войска, которое обороняло

нашу родину в 1812 году. Это — те самые люди, которые с полуторапудовым ранцем за плечами, с 14-фунтовым ружьем в руках, в неудобном, холодном кивере и в „подбитой ветром“ шинели, часто почти босые и еще чаще голодные, непрерывно сражаясь и в жару, и в дождь и мороз, за два года прошли пешком много тысяч верст от Немана до Бородина и от Тарутина до Парижа. Это — как бы представители тех, чьи геройские тени незримо присутствуют в Военной галерее, составляя тесный строй за каждым генералом, водившим их в бой. Это — те, без чьей храбрости, упорства и мужества самый талантливый полководец не одержал бы своих прославленных побед.

Вероятно, то же думал Пушкин, глядя на замершие на постах, мужественные фигуры grenадер, на их обветренные и окуренные порохом, пересеченные морщинами лица. Поэт думал и о том, что, может статься, именно эти люди, когда-то, весной 1812 года, благословляли его и других лицеистов, проходя через Царское Село на запад, навстречу надвигавшейся на Россию туче наполеоновского вторжения.





## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Военная галерея Зимнего дворца . . . . .	5
Пушкин и Отечественная война 1812 года . . . . .	15
Д. В. Давыдов . . . . .	43
В. В. Левашев . . . . .	55
П. М. Волконский . . . . .	60
Александр I . . . . .	68
А. А. Аракчеев . . . . .	73
М. А. Милорадович . . . . .	79
Н. Н. Раевский и С. Г. Волконский . . . . .	86
И. Н. Инзов . . . . .	99
И. В. Сабанеев . . . . .	109
А. Ф. Ланжерон . . . . .	114
И. О. Витт . . . . .	120
М. С. Воронцов . . . . .	124
Е. Ф. Керн . . . . .	137
В. кн. Константин Павлович . . . . .	144
И. И. Дибич . . . . .	149
А. X. Бенкендорф . . . . .	155
П. В. Голенищев-Кутузов . . . . .	169
А. А. Закревский . . . . .	170
А. П. Ермолов . . . . .	177
И. Ф. Паскевич . . . . .	188
Д. В. Голицын . . . . .	196
О тех, кого лично не знал Пушкин . . . . .	202
Дворцовые гренандеры . . . . .	211

На фронтисписе портрет А. С. Пушкина, работы О. А. Кипренского (1827 г.)

*Художественное оформление*  
*С. Барбошина*

М-17701. Подписано к печати 22/V 1949 г. Тир. 10.000.

Печ. л. 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub> + 1 вкл. Уч.-изд. л. 10,7. Заказ 334.

Типография Государственного Эрмитажа

Ленинград, Дворцовая наб., 32.